

TOMAS VENCLOVA

# NEGATYVŲ BALTUMAS



ТОМАС ВЕНЦЛОВА

# НЕГАТИВ БЕЛИЗНЫ

**B**  
BALTRUS



BALTRUS/MASKVA/2008/БАЛТРУС/МОСКВА

TOMAS VENCLOVA

**NEGATYVŲ  
&  
BALTUMAS**

ТОМАС ВЕНЦЛОВА

# НЕГАТИВ БЕЛИЗНЫ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

УДК 821.17  
ББК 84-5 (4 Лит)  
В29

Идея серии Юозаса Будрайтиса и Евгения Пермякова  
Дизайн серии Сергея Андриевича

Книга выпущена в рамках издательской программы Baltrus Посольства  
Литовской Республики в Российской Федерации при поддержке  
Министерства культуры Литовской Республики и Института Литвы (Вильнюс)

Перевод с литовского Виктора Куллэ, Павла Шкарина («Памяти Хенкуса Хапенкуса»),  
Константина Русанова («От Ландверканала до Шпрее», «Обернувшийся у рубежа»,  
«На горной гряде вблизи Иордана», «Ormond Quay»)

ВЕНЦЛОВА, ТОМАС

В29 Негатив белизны: Стихи разных лет / На русском языке с параллельным литовским  
текстом. – М.: Новое издательство, 2008. – 176 с.

ISBN 978-5-98379-108-4

Литовский поэт и филолог Томас Венцлова родился в 1937 году в Клайпеде, окончил  
Вильнюсский университет (1960), был одним из основателей литовской Хельсинкской  
группы (1976). В 1977 году эмигрировал в США, в настоящее время преподает в Йель-  
ском университете. Стихи Томаса Венцловы переводились на английский, венгерский,  
немецкий, польский, русский, словенский, чешский и другие языки. На русском языке  
вышли книги Венцловы «Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических тек-  
стов» (1986), «Собеседники на пиру: статьи о русской литературе» (1997), «Свобода  
и правда» (1999), «Граненый воздух» (2002), «Статьи о Бродском» (2005).

УДК 821.17  
ББК 84-5 (4 Лит)

ISBN 978-5-98379-108-4

© Tomas Venclova, 2008  
© BALTRUS, 2008  
© Новое издательство, 2008



### Iš rinkinio „Kalbos ženklas“ (1972)

- „Už mūsų sienų kvadratus...“ (12)  
„Rankas ir veidą perveria daigai...“ (14)  
„Jos reikalingos ilgam – kad kelias būtų lyg denis...“ (16)  
„Lyg nemirtingų sielų atspara...“ (18)  
„Mes pasimatėm pro kitų žodžius...“ (20)  
„Įpusėja para, tyluma padidėja garsuos...“ (22)  
Pašnekesys žiemą (26)

### Iš rinkinio „Achilo skydas“ (1976, savilaida)

- „Neturtinguose miestuose laikas palikti draugus...“ (34)  
Eilėraštis apie draugus (36)  
„Nusišypsok, sustok, paskui pareik namo...“ (40)  
Pakartojimas su atmainomis (42)  
Achilo skydas (46)  
„Nors šulinys bedugnis ir staigus...“ (52)  
„Lyg nuotraukoj, erdvi ir nesaugu...“ (54)  
Sestina (56)  
Nel mezzo del cammin di nostra vita (60)

### Iš rinkinio „Tankėjanti šviesa“ (1990)

- Padėkos diena (64)  
Šeremetjevo, 1977 (68)  
„Naktį didžiulė knyga suplasnoja tarytum sparnai...“ (72)  
„Už pusmylio, kur kertas autostrados...“ (74)

### Iš rinkinio „Reginys iš alėjos“ (1998)

- Tu, felix Austria (78)  
Įlanka (86)

**Из сборника «Знак речи» (1972)**

- «За наших белых стен квадрат...» (13)  
 «Живую плоть пронзают острия...» (15)  
 «Им надобно длиться и длиться – чтоб палубе путь был подобен...» (17)  
 «Опорой душ бессмертных, как всегда...» (19)  
 «Мы свиделись в гостях, среди слов чужих...» (21)  
 «Скоро полночь, в тиши нарастая, твой голос набух...» (23)  
 Разговор зимой (27)

**Из сборника «Щит Ахиллеса» (1976, самиздат)**

- «Вновь пора расставаться с друзьями в ночных городках...» (35)  
 Стихи о друзьях (37)  
 «Помедли, улыбнись и возвращайся вспять...» (41)  
 Повтор с вариациями (43)  
 Щит Ахиллеса (47)  
 «Колодец крут, но в черноте его...» (53)  
 «Простор, рискованный как на фото. Вот...» (55)  
 Сестина (57)  
 Nel mezzo del cammin di nostra vita (61)

**Из сборника «Сгущающийся свет» (1990)**

- День Благодарения (65)  
 Шереметьево, 1977 (69)  
 «Ночью огромная книга словно крылами всплеснёт...» (73)  
 «На расстоянья полумили – там, где...» (75)

**Из сборника «Вид из аллеи» (1998)**

- Tu, felix Austria (79)  
 Залив (87)



Las Meninas (88)  
Faidro tęsinys (90)  
"Šioj pusėj akiračio kartą pabūkime dviese..." (92)  
"Žinau tik tai, kad jis praėjo (ar praeina)..." (94)  
Kartaginoje po daugelio metų (98)  
"Viduržemio kvintos ir septimos. Kas užrašys..." (102)  
Dvilypė nuotrauka (104)  
Arbatinė settlemente. Variacija (106)  
Instituto parke (108)  
Turbūt pakeliui į Chengdu (112)  
Plateau (116)  
In memoriam Henkus Hapenčkus (118)  
Gobelenas (122)  
Skiriama kūdikiui (124)  
Arieliui (128)  
Tristia (130)  
"Mes deginom šią lempą vakarais..." (134)  
San Michele (136)

### **Iš rinkinio "Sankirta" (2005)**

Sankirta (140)  
Po paskaitos (144)  
Anno Domini 2002 (150)  
Tarp Landwehrkanalo ir Spree (154)  
Atsigręžęs ties riba (160)  
Keteroje netoli Jordano (164)

### **Iš naujų eilėraščių**

Ormond Quay (174)

Менины (89)  
Продолжая Федра (91)  
«И нам до черты горизонта свиданье отмерено...» (93)  
«Я знаю, что оно как будто истекает...» (95)  
В Карфагене много лет спустя (99)  
«Январские квинты и септимы. Как сохранить...» (103)  
Двойной снимок (105)  
Чайная в сеттльменте. Вариация (107)  
В институтском парке (109)  
Вероятно, на пути в Чэнду (113)  
Плато (117)  
Памяти Хенкуса Хапенчкуса (119)  
Гобелен (123)  
На рождение младенца (125)  
К Ариэлю (129)  
Tristia (131)  
«Мы эту лампу жгли по вечерам...» (135)  
San Michele (137)

### **Из сборника «Стык» (2005)**

Стык (141)  
После лекции (145)  
Anno Domini 2002 (151)  
От Ландверканала до Шпрее (155)  
Обернувшийся у рубежа (161)  
На горной гряде вблизи Иордана (165)

### **Из новых стихов**

Ormond Quay (175)

**Iš rinkinio “Kalbos ženklas”  
(1972)**

**Из сборника «Знак речи»  
(1972)**

\* \* \*

Už mūsų sienų kvadratus  
Ir durų kvadratus,  
Už aukštą langą — du kartus  
Ir lempą — du kartus,  
Už atkirstų šalių vardus,  
Žemėlapių vartus,  
Už tai, kad oras neklaidus  
Ir kad klaidus vidus.  
Už baltus garvežių ratus,  
Patikrintus raktus,  
Už mus visus — tuos du kartus,  
Tuos keturis kartus.  
Už tai, kas plaukia nuo laidų,  
Kas gimsta po ledu,  
Už tai, kad du ir du — ne du,  
Ir dukart du — ne du.

\* \* \*

За наших белых стен квадрат  
 И за дверей квадрат,  
 А после — за окно двукрат,  
 За лампу в нём — двукрат,  
 За стран запретных аромат,  
 Где гложнет адресат,  
 За то, что внятен воздух над  
 Тобой, и за разлад,  
 За поездных гудков насад,  
 За ключ не наугад,  
 За каждого из нас — двукрат  
 Или четырёхкрат.  
 За голос, слышимый едва,  
 Из-подо льда слова,  
 За то, что два плюс два — не два.  
 И дважды два — не два.

1961

\* \* \*

Rankas ir veidą perveria daigai.  
Garbė neturtui. Žemė virto rožėmis.  
Daiktų varža, Voronežo dirvožemis —  
Lyg praeitis ir užmiršti draugai.

Po širdimi keliolika planetų,  
Ir Dantės ratai slegia langines,  
Ir taip arti skambučio palytėta  
Kelionė, pasigedusi manęs.

Sulipę sakiniai pirštus nudegins:  
Apkartus duona, slėnyje įsmegęs  
Dirvonų rūpestis, pavargę smegens,  
Lengvų pasaulio sostinių šeima...

\* \* \*

Живую плоть пронзают острия  
Травы. Благословенна бедность. Розами  
Воронежская почва стала. Рассказни  
О прошлом — как забытые друзья.

Под сердцем десять (или даже больше)  
Планет, и тяжесть дантовых кругов  
Срывает ставни. И так близок, Боже,  
Мой путь грядущий, телефонный зов.

Фраз слипшихся ожог: тюрьма, сума,  
Хлеб горький, сухомятные тома,  
Отрава для усталого ума,  
Столица всей вселенной —

1963



\* \* \*

Jos reikalingos ilgam — kad kelias būtų lyg denis,  
Kad nebekeltum galvos ir Sirijus sunkiai alsuotų —  
Svčrios tarytum korys pasaulio pusiausvyros dienos,  
Cukraus, vandens ir spyglių pripylę geltoną ąsotį.

Viską regėsiu ne sau — šešėlį, blokštą iš aukščio,  
Saulės dėmes ir pušies šiurkščią įšilusią odą,  
Kol atsimuš į stiklus, nelyginant fosforo paukščiai,  
Bitės, baltuos aviliuos palikę nelaimę ir nuodą.

\* \* \*

Им надобно длиться и длиться — чтоб палубе путь был подобен,  
Чтоб Сириус тяжело дышал, чтоб не шевельнуть головою —  
Дням равновесья вселенной, тяжестью сотам медовым  
Равным, кувшин переполнившим сахаром, влагой и хвоей.

Я это увижу: рухнувшую тень с высоты — и приснится  
Грубая кожа сосны, прогретая солнцем на славу,  
Покуда в стекло не ударятся, подобно фосфорным птицам,  
Пчёлы, в белые улья несущие смерть и отраву.

1964

\* \* \*

Lyg nemirtingų sielų atspara  
Daiktų pasaulis blykčioja už stiklo,  
Ir nežinia, kas gali atsitikti  
Ties laiko upėmis, kurių nėra.

Ar pamatysime dėmėtą, rusvą  
Jų vandenį, skalaujantį namus,  
Iškeitę žemės peleną ir druską  
Į nesvetingus išsiskyrimus?

Čia baigias vasara. Trikampė burė  
Lyg užraktas suveržia krantines,  
Ledu sužvilga akinanti jūra,  
Ir oras akmenėja virš manęs.

\* \* \*

Опорой душ бессмертных, как всегда,  
Предметный мир за стёклами лучится.  
Неведомо, что может приключиться  
Близ рек времён, иссякших без следа.

Увидим ли их мутный, рыжеватый  
Поток среди иных домов и трав,  
На негостеприимство расставаний  
Земные соль и пепел разменяв?

Нет лета. Парапеты на запоре  
Косого паруса, но глаз больной  
Слепит холодным льдистым блеском море.  
И воздух каменеет надо мной.

1969

\* \* \*

Mes pasimatėm pro kitų žodžius,  
Nelyginant pro perregimą sieną,  
O tam, kas mudu kvietė į svečius,  
Gyventi liko ne daugiau kaip mėnuo.

Tarsi rodyklė sukasi dvasia,  
Išvarginta nežemiško garsyno,  
Ir kartos pasikeičia mumyse,  
Kaip kitados įsakė Mnemosinė.

Į savo gūžtą traukiasi žiema,  
Nebeįstengus mūsų išganyti.  
Tarp miesto, tarp nadyro ir zenito  
Tarytum sodas ošia tyluma.

\* \* \*

Мы свиделись в гостях, среди слов чужих.  
Стеклянная стена стояла между.  
Хозяину же оставалось жить  
Примерно с месяц. Может, даже меньше.

Дух, кружащий по стрелке часовой,  
Расслышит горный звукоряд устало.  
Нам смена поколений не впервой,  
Как Мнемозина некогда сказала.

Сил не имея нас тобой спасти,  
В гнездо зима отходит. И над миром  
В пространстве меж зенитом и надиром  
Безмолвье белым садом шелестит.

1970

\* \* \*

Įpusėja para, tyluma padidėja garsuos,  
Tavo žodžiai nuaidi tamsoj, nepalietę klausos,  
Ir padvelkia pelynai, — apkartę, sausi, netikri, —  
Nes mėnulis tarytum anglis, o gamta nesvari.  
Tu seniai nubudai. Nuo tavęs ligi sapno krantų —  
Du skirtingi planai, susilietę miglotu kraštu,  
O pasaulio gale, ties pačia tolimiausia kalva,  
Šimtametės nakties ir išmirusių lapų kalba.

Ar suprasi, ką šnabžda kadaise nutilus burna?  
Virš balotų laukų pamažu išryškėja diena  
Su vandens atspindžiais ir nematomo paukščio balsu  
Tuštumos vidury, tarp juodų ir baltų debesų.  
Neskubėk aplankyti sodybos. tarytum grėsmė  
Ažuolyno pavėsyje slypi ledinė versmė,  
Ir nėra šeimnininko, ir, spyną palietus raktu,  
Negyvenamos dienos girgždėdamos eina ratu

Ar keliasi toliau? Už garuojančių ryto rūkų  
Nenu tylanti jūra sutampa su tavo laiku,  
Ir jokia atmintis neįstengia išsemti gelmės,  
Ir vaikystė lengva, o jaunystė neturi prasmės.  
Mūsų sielos arti, mes visai neseniai iškirsti,  
Ir vidurdienio laikrodis tiksi kažkur dabarty,  
Ir, praradusi kryptį, sustoja strėlė danguje,  
Nes pasaulis tas pats, o vienatvė kas kartas nauja.

\* \* \*

Скоро полночь, в тиши нарастая, твой голос набух  
Звуком, но даже эхо во тьме не тревожит твой слух;  
Горько пахнет полынью — поддельной, сухой — тишина;  
Невесома природа, луна словно уголь черна.  
Ты проснулся давно. Меж тобою и берегом сна —  
Плоскостей пересекшихся мгlistая кромка видна,  
А у края вселенной, за дальней грядюю звучит  
Голос вымерших листьев и речь вековечной ночи.

Понимаешь ли шёпот умолкшего некогда рта?  
Над болотистым полем яснее. Его пустота —  
В крике птицы незримой, в изменчивом блеске воды.  
Между чёрных и белых клубов — самый центр пустоты.  
Не спеши посетить этот двор — он угрозу таит.  
В сени рощи дубовой родник леденящий сокрыт.  
Нет хозяина. Стоит замок потревожить — и вот  
Тотчас дней нежилых вереница по кругу бредёт.

Будешь странствовать дальше? За утренней дымкой теней —  
Рёв немолчной пучины, совпавшей с эпохой твоей.  
Даже памятью не исчерпаешь пучину до дна.  
Легкомысленно детство, а юность пуста и темна.  
Наши души вблизи ещё — вырубка только прошла.  
Потеряв направление, в небе увязла стрела.  
Настоящее тикает обок в полуденный час.  
Мир всё тот же, и лишь одинок ты всегда в первый раз.



Lyg mirties valanda mūsų laukia grįžimas namo,  
Baltos pokario dulkės, apvytusio medžio liemuo,  
Ištuštėję tvirtovių grioviai, sugriauti švyturiai,  
Už įskilusių sienų visiems atviri kambariai.  
Vėjas neša lapus, į pakrantę srovėna vėsa,  
Virš akmens ir kapų sutvirtėja rugsėjo šviesa,  
Ir ties jūros riba, praeities ir erdvės kupini,  
Pajuodavę laivai mirguliuoja sekliam vandeny.

Tai tik metų eilė, svetimųjų senatvių eilė.  
Taip anapus kalvų susijungia lietus ir žolė,  
Taip žodyno tankmė suaugina daiktų likimus  
Ir paklydę balsai iš pasaulio pareina į mus.  
Nebijok atsigręžti atgal: aš juk irgi jaučiu,  
Kaip didžiulis alsavimas gula ant mūsų pečių —  
Tai tik juodžemis, molis, drėgmė, šulinys, užmarštis,  
Svetimų valandų, svetimos nebūties pakraštys.

Tu sustoji tarp raidžių, stiklų, išskalautų lentų,  
Negyvoj ir turtingoj atoslūgio juostoj, kartu  
Su keliais palydovais, kurių jau seniai nebėra,  
Ir tave lyg šešėlį apgaubia ir slepia kaitra.  
Ir, išnykęs laike, nejunti, kaip artėja ruduo,  
Kaip aplinkui tave pakitėja dangus ir vanduo,  
O tuščia ir didesnė už savo gyvybę dvasia,  
Tarsi vaizdas tinklainėje, sklaidos giliai daiktuose.

Возвращенье домой караулит тебя в свой черёд —  
 Словно смерть. Там белесая пыль набивается в рот,  
 Маяки без огня, опустевшие рвы крепостей,  
 Стены рухнувших комнат, провалы разбитых дверей.  
 Ветер листья несёт. Побережье. Довольно свежо.  
 Над могилами свет сентября. Пред морским рубежом,  
 Стынут, полны пространством и прошлым, вблизи от земли,  
 Почернев от скитаний, на мелкой воде корабли.

Это старость чужая с годами вступает в права.  
 Там, за теми холмами, брачуются дождь и трава.  
 Это в чаще словарной, срастившей судьбы письмена,  
 Голоса из погибших миров возвращаются в нас.  
 Не страшись оглянуться: мне тоже знаком смертный пот.  
 Это тяжесть чужого дыхания плечи гнетёт.  
 Чернозём и колодезь забвенья. Примерь, как своё,  
 Это время чужое и чуждое небытиё.

Скоро осень. Меж досок и букв ты застыл, боязлив,  
 В грудах мёртвого мусора, что оставляет отлив,  
 В окружении спутников, коих давно уже нет.  
 И тебя, словно тень, поглощает немислимый свет.  
 Это время чужое — но ты в нём исчез без следа,  
 Не почуяв, как небо меняется, стынет вода.  
 Это дух опустелый, что больше, чем, собственно, жизнь,  
 На сетчатке дробится и в недрах предметов дрожит.

1967

## PAŠNEKESYS ŽIEMĄ

Įženk į šį peizažą. Dar tamsu.  
Anapus kopų gaudžia tuščias plentas.  
Su jūromis kariauja kontinentas —  
Nematomas, bet sklidinas balsų.  
Praeivis arba angelas sniege  
Paliko lengvą užpustytą brydę,  
Ir kranto atspindys juosvam lange  
Mums primena bevaisę Antarktidą.

Putoja neužšalus pragarmė.  
Jau nebe pirmą mylią rieda smiltys.  
Čia paryškėja, čia išnyksta tiltas,  
Ir plinta atšiauri žiemos ertmė.  
Nėra nei telegramų, nei laiškų,  
Tik nuotraukos. Tranzistorius neveikia.  
Sakytum, žvakė, lašanti vašku,  
Užantspaudavo pavojingą laiką.

Koks drėgnas oras, koks skardus akmuo.  
Koks visagalis paryčio rentgenas!  
Įtempus žvilgsnį, praskaidrėja sienos,  
Bažnyčios bokštas ir žmogaus liemuo.  
Baltam fone išsiskiria tiktai  
Migloti medžių kontūrai. Pro žievę,  
Net užsimerkęs, tu beveik matai  
Atsparią, siaurą paskutinę rievę.

**РАЗГОВОР ЗИМОЙ**

Вступи в пейзаж. Ещё темно в окне.  
За дюнами шоссе гудит надсадно.  
Невидимый, кишасший голосами,  
Сражается с морями континент.  
Прохожий (либо ангел) лёгкий след  
В снегу оставил — он почти не виден.  
И отраженье берега в стекле  
Напоминает нам об Антарктиде.

Незамерзающая бездна тьмы  
Вскипает пеной. Ледяная пряжа  
Скрывает пирс и обнажает пляжи.  
Всё шире география зимы.  
Ни телеграмм, ни писем. Замолчал  
Транзистор. Лишь десяток фото возле.  
Ты, кажется, сказал бы, что свеча  
Свирепость времени скрепила воском.

Как влажен воздух! Как звенящ и прост  
Предугранный рентген! Прищурься — сразу  
Прозрачны для натруженного глаза  
Стена костёла и живая плоть.  
На белом фоне различима лишь  
Чреда деревьев. Под корою чёрной,  
Зажмурившись, древесный слой узришь —  
Последний, самый узкий и упорный.

„Tas įprotis išvargina akis,  
Po valandėlės nesunku suklysti.“  
„Ne apie mus byloja pranašystė.“  
Pakrypsta apšarmojusi ašis,  
Ir, rodos, horizonto riboje,  
Kur juoduoja laivai ir stingsta garsas,  
Nejudriame pajūrio danguje  
Įsidega Jupiteris ir Marsas,

Ligi Atlanto plyti tuštuma.  
Dyki laukai — lyg atrakintos salės.  
Po sausio sluoksniu slepiasi vasaris,  
Nuo šlapio vėjo gūžias lyguma.  
Už marių apsinuogina kalnai,  
Duburyje suslūgsta ir pajuosta  
Aptirpusi pusnis. „O kas tenai?“  
„Vėl upių žiotys, įlankos ir uostai.“

Po sunkiasvorio debesio tinklu  
Tarytum žuovys blizga ankštos aikštės.  
„Ar tu atsimeni, ką sake žvaigždės?“  
„Šis amžius išsiverčia be ženklų,  
Tėra statistika.“ „Mirties trauka  
Sukausto žmogų, augalą ir daiktą.  
Tačiau sudygsta grūdas ir auka,  
Ir štai tada, manau, ne viskas baigta.“

„Kur liudininkas? Aš nesuprantu,  
Kas perskiria tikrovę ir apgaulę:  
Gal mudu esame vieni pasauly.“  
„O man atrodo, kad esi tik tu.“  
„O trečias pašnekovas? Tu sakai,  
Kad niekas šito pokalbio negirdi?“  
„Yra dangus ir apsnigti laukai,  
O balsas kartais pergyvena širdį.“

«Привычку эту суетную брось:  
Замылен глаз, ошибка недалёка».  
«Знать, не о нас звучала речь пророка».  
Кренится индевеющая ось,  
И кажется: где сходит звук на нет,  
Где горизонт, и корабли чернее,  
Юпитер с Марсом изливают свет  
На неподвижном прибалтийском небе.

К Атлантике простёрта пустота  
Нагих полей — открытых настезь залов.  
Ландшафт, продутый мокрым ветром, замер.  
Грядет февраль с бумажного листа,  
И обнажаются холмы за той  
Лагуной, и темнеет каждой порой  
Подтаявший сугроб. «А дальше что?»  
«Опять заливы, устья рек и порты».

Под сетью из тяжеловесных туч  
Блестят, как рыбы, площади. «Ты помнишь,  
Что говорили звёзды?» «Этот пошлый  
Век не приемлет знаков — только ключ  
Статистики». «Знать, смерти всё равно:  
Что человек, что ствол древесный гибкий.  
Но прорастают жертва, и зерно.  
И, думаю, не всё ещё погибло».

«А где свидетель? Не узреть черты  
Меж явью и иллюзий мнимым роем:  
Возможно, нас на свете только двое».  
«Мне кажется, реален только ты».  
«А третий собеседник? Дай ответ:  
Ужель никто не слышит сей беседы?»  
«Есть небо и заснеженная твердь,  
А голос может длиться дольше сердца».

Vidurdienis patamsina medžius.  
Visai prašvitus, sąmonėje lieka  
Prieš valandėlę sutverti iš nieko  
Lengvi daiktai, atstojantys žodžius:  
Sudužusi ledokšnio atskala,  
Šakų skeletas, ištrupėjęs mūras  
Ties gatves posūkiu... Paskui — tyla  
Ir šiapus jūros, ir anapus jūros.

Темны деревья в полдень. Но ясны  
В сознании при нарастаньи света  
Заместо слов случайные предметы,  
Что из небытия сотворены  
Минутой раньше: дряхлая стена,  
Ветвей скелеты на ветру промозглом,  
Осколок льда... А дальше — тишина  
По обе стороны седого моря.

1971



**Iš rinkinio “Achilo skydas”  
(1976, savilaida)**

**Из сборника «Щит Ахиллеса»  
(1976, самиздат)**

\* \* \*

Neturtinguose miestuose laikas palikti draugus.  
Nevaisinga šviesa juos palaimina plaukiančios lempos.  
Mus praranda naktis ir atranda Aukštadvario plentas —  
Jo gruoblėti pušynai, derva ir spygliuotas dangus.

Taip, tai Tavo erdvė netikėtai tirštėja ir auga,  
Tu suartini mus, Tu nutolini mus nuo baigmės.  
Tu man siaurini vyzdį, praplėtęs regėjimo lauką  
Ligi rankos šešėlio ir aklo brezento drėgmės.

Ir jei manajai kartai nelemta laimėti lenktynių,  
Tenestinga pirmajam, kuris neilgai tegyvens,  
Kasdieninės jo duonos ir jo nekasdienio likimo,  
Kasdieninės jo druskos ir jo nekasdienio vandens.

Tesuranda mane jo nutrūkęs ir tobulas balsas,  
Netiesos atpirkimas, nelaimės ir laisvės pradžia —  
Taip vanduo Nemune turi būti pajuodęs ir salsvas,  
Kad jame ligi deltos garuotų ir plauktų delčia.

\* \* \*

Вновь пора расставаться с друзьями в ночных городках.  
Свет, плывущий от лампы бесплодной, над ними витает.  
И шоссе в Аукштаварис нас на пути обретает —  
Его хвойное небо, смола и стволы сосняка.

Да, пространство Твоё, разрастаясь, внезапно густеет.  
Ты ещё отдаляешь нас всех от конечной черты.  
Ты, сужая зрачок, расширяешь мне зренье — до тени  
От руки, до росы на брезенте. Сближаешь нас Ты.

Коль судьба поколения — согнуть в забеге грядущем,  
Да не будет нуждаться тот первый из нас, кто уйдёт,  
В своём хлебе и соли насущных, в судьбе ненасущной,  
И в воде ненасущной Твоей от небесных щедрот.

Совершенный, прервавшийся голос — невзгод и свободы  
Провозвестник, не знающий лжи — да отыщет меня.  
Так черны и сладимы должны быть на Немане воды,  
Чтоб до дельты плыла, испаряясь, в ущербе луна.

1967

## EILĖRAŠTIS APIE DRAUGUS

Natalijai Gorbanevskajai

Kada ir svetimi — nesvetimi,  
Ir visa, kas nespėjo atsitikti,  
Nutulsta pasroviui nebūtimi,  
Tarytum nebūtis turėtų kryptį,  
Kada už miesto baigiasi diena  
Ir griaudžia radijas, artėjant liūčiai,  
Turbūt neatsitversime spyna  
Nuo paskutinių vasaros minučių.

Aptemus orui, žengia pro duris  
Pradingęs, pavėlavęs, pasitraukęs,  
Kuriems šią naktį mūsų kambarys —  
Vienintelis Eliziumo laukas,  
Kurių šešėliai klaidžioja sapne,  
Vieni kitus pamilę ir pamiršę,  
Apsigyvena veidrodžių dugne  
Ir netikėtai kyla į paviršių.

Taip atgema sugulę į karstus  
Sparnuotos moters, nematyti broliai,  
Karta, seniai pavirtus į garsus,  
Į knygos parašte, į sausą žolę,  
O tuos, kas gyvas, renkasi migla,  
Tušti namai ir tolimos kelionės.  
Jų ginklas — atsparumas ir tyla,  
Ir juos galbūt išgelbės Apolonas.

## СТИХИ О ДРУЗЬЯХ

Наталье Горбаневской

Когда чужая боль — почти твоя,  
 И всё, что не успело приключиться,  
 Уносит вниз поток небытия,  
 Как бы небытие куда-то мчится, —  
 День за городом кончиться готов,  
 Гремит приёмник, зреет ливень где-то,  
 И нам не запереться на засов  
 От иссякающих мгновений лета.

Сквозь помрачённый воздух на порог  
 Вступают отступивший, опоздавший,  
 Исчезнувший, кому наш дом — чертог,  
 На эту ночь Элизиумом ставший;  
 Из тех теней, блуждающих во сне,  
 Что, полюбив, друг друга забывают,  
 Что селятся у зеркала на дне,  
 А после неожиданно всплывают.

Так, воскресая, кружат надо мной  
 Крыла подруг и братьев поневоле —  
 То поколение, ставшее стернёй  
 И чистым звуком, и бумажным полем.  
 А выжившим — лишь опустевший дом,  
 Лишь бесконечный путь и мгла снаружи.  
 Молчание и стойкость им щитом  
 И, может, Аполлон спасет их души.

Pastogė apsimes gamtos riba,  
Naktis atskirs atodrėkį nuo speigo,  
Ir net mirties akivaizdoj kalba  
Išsaugos jiems ištikimybę, jeigu,  
Užnuodijus jutimą ir mintis,  
Išskobus duobę akmeniniuos laiptuos,  
Jų laukia neprašyta ateitis —  
Jų pragaišintas ir gražintas daiktas.

Jie lankė mūsų giria. Jų pirštus,  
Lyg medis, atmena negyvas baldas,  
Įžengę į subrendusius metus,  
Jie žemiškajam teismui nepavaldūs.  
Tai atvira ir didelė šeima,  
Kurios vaikai teturi vieną vardą —  
Jų balsą pavadavus tuštuma  
Ligi kraštų pripildo mūsų erdvę.

Aš netikiu nelaime ir tikiu  
Draugais, kuriems išdalijau po lygiai  
Atstumą tarp pasaulio ir akių —  
Šią menką ir netikrą begalybę.  
Visi veidai išnyksta šviesoje,  
Užgęsta lempos, išryškėja tiesos,  
Bet žingsniai susitinka manyje,  
Kaip susitinka lygiagretės tiesės.

Ir vėl ruduo, pritrenkęs dosnumu.  
Mieste, kurį laimėjo kelios sielos,  
Virš svetimų tramvajų ir namų  
Šią valandą prasideda rugsėjis.  
Didžiulės baržos dunkso vandeny,  
Iš ryto įtemptas kiekvienas nervas,  
Ir pats pirmasis lapas grindiny  
Kampuotas, tarsi riteriškas herbas.

Кров станет им границей мира, ночь  
 Отделит оттепель от стужи вечной.  
 Свидание со смертью превозмочь  
 Поможет речь; и сохранит им верность,  
 Когда, залив и в мозг, и в душу яд,  
 На камне лестниц углубляя ямы,  
 Их будущее на круги своя  
 Поволочёт непрошеною явью.

Наш лес их помнит. Дерево хранит  
 На мёртвой мебели тепло их частых  
 Прикосновений. В зрелости они  
 К суду земному больше непричастны.  
 Огромная семья, где для детей  
 Единственное имя должно помнить.  
 Сменившей их звучанье пустоте  
 Легко пространство до краев наполнить.

Не верю в горе, верю только в вас,  
 С которыми делил (делиться нечем)  
 Зазор от мироздания до глаз —  
 Поддельную скупую бесконечность.  
 Все лица растворяются в огне  
 И проясняют истины немые,  
 Но их шаги встречаются во мне,  
 Как где-то — параллельные прямые.

И снова осень — щедрая на всё —  
 Над крышами чужих и чуждых спален.  
 И в городе, который был спасён  
 Лишь горсткой душ, — сентябрь уж наступает.  
 Гудки огромных барж над головой.  
 С утра для нервов каждый звук — помеха.  
 И самый первый лист на мостовой  
 Гранён, как герб на рыцарских доспехах.



\* \* \*

Nusišypsok, sustok, paskui pareik namo —  
Lauke tokia tamsa, kad galima apakti,  
Bet mano burnoje atgyjantis skiemuo  
Palaimins ir pralenks ilgiausią metų naktį.  
Nusišypsok, nes mus išskyrė lyguma,  
Lediniai ežerai, neperregimos pūgos,  
Užuolaida, kurią matai užmigdama,  
Ir tamsūs traukiniai tarp Daugpilio ir Lugos.

Virtuvėje — vėsi nusekusi versmė  
Ir keletas kėdžių, tarytum retas miškas.  
Aš irgi užmiegu, ir šių namų prasmė —  
Tik pašto adresas ir telefono diskas.  
Aš irgi užmiegu ir, rodosi, keliu  
Plastmasę, ir žinau, kad pražūtinga delsti,  
Nes, likęs su tavim, nubusdamas galiu  
Anapus skaitmenų surasti savo balsą.

\* \* \*

Помедли, улыбнись и возвращайся вспять.  
 Хоть выколи глаза — такая тьма вне дома.  
 Во рту оживший слог способен обогнать,  
 Благословляя, ночь — в году из самых долгих.  
 Помедли, улыбнись, меж нами всё равно  
 Равнины, лёд озер, крошечный посвист выюги,  
 Та занавеска, что ты видишь перед сном,  
 Ночные поезда в Даугавпилсе и Луге.

Кухонный родничок журчит без перемен  
 И стульев редкий лес внимает полусонно.  
 Я тоже полусплю, и смысл вот этих стен —  
 Лишь адрес на письме и номер телефона.  
 Я тоже полусплю. И, кажется, прижав  
 Пластмассу к уху, гибель делаю всё ближе,  
 Поскольку поутру, к тебе во сне сбежав,  
 Из-за изнанки цифр свое «алло» услышу.

1968

## PAKARTOJIMAS SU ATMAINOMIS

Kada rugpjūčio vidury,  
už šimto ežerų ir upių,  
tu užsimiršusi tari  
betikslį vardą, kai nuo lūpų

nutolsta skiemens, ir jauti,  
kad lūpos sausos, gatvės alsios,  
kada dingsti kaitrioj naktį,  
kurioj išlieka tavo balsas

(nes naktys — balso atrama),  
pro cerkvę, užrakintą paštą  
ir krautuvę prieidama  
tos laikinos visatos kraštą

po žemėm ar padebesiuos  
(nes gelmę pavaduoja aukštis,  
ir uosio lapuos nei tamsos  
esencija užgimsta paukštis),

kai šauksmas (o galbūt giesmė)  
plevena, užmarštį atstūmęs,  
pati materijos esmė —  
išsiskyrimas ir atstumas.

## ПОВТОР С ВАРИАЦИЯМИ

Когда ты в августе, за сто  
озёр и рек, ошибшись датой,  
забывшись, молвишь имя то  
моё бесцельное, когда от

уст отшелушится слог,  
ты исчезаешь душной ночью,  
способной, подводя итог,  
лишь голос сохранить воочью

(ночь — суть опора звука); дан  
маршрут: закрытой почты мимо,  
церквушки, лавок, доходя  
до края временного мира —

под землю и за облака  
(высь с глубиною совместится  
и в крыльях ясеня, легка,  
из сердца мрака зреет птица);

когда и песнь (как вскрик, слышна)  
теснит забвеньё силой звука,  
материя, что нам дана —  
лишь расстоянье и разлука.

Balsai neturi praeities  
ir dabarties. Vis vien, kur būsi,  
kur būsiu aš (taip pat nakties  
centre; antroj šio amžiaus pusėj;

rugpjūčio vidury); vis vien,  
kas mudu gins, kas mudu nuodys —  
vienodai atkreiptas versmėn,  
abu pasieks beteisis žodis

ar žodžio pėdsakas: tiktai  
mirtingas atspindys, sužibęs  
erdvėj, kur liečias nei kardai  
dvi tamsumos ir dvi gyvybės;

degtukas uždaruos namuos,  
kurį vidurnaktis sugundė  
išvesdinti iš aklumos  
bent kontūrus. Ir bent sekundę.

Звук не умеет обитать  
в прошедшем, в настоящем. Сверка  
где мы находимся, итак:  
ночь, август, половина века

вторая; всё едино, то  
что нас спасёт, отравит — словно  
пытаясь обрести исток,  
обоих настигает слово

бесправное, след слова; от-  
свет смертный еле замечаем  
в пространстве наших двух темнот,  
двух жизней, скрещенных мечами;

в забитом доме водворить  
ночной соблазн и светом скудным  
единой спички озарить  
лишь контуры. Лишь на секунду.

1971

## ACHILO SKYDAS

Josifui Brodskiui

Kalbu tik tam, kad nervų ekrane,  
Kaip tu kadaise, aiškiai pamatyčiau  
Tuos aptvarus šalia akmens koplyčių  
Ir raktą ties tuščia pelenine.  
Tu nesuklydai: viskas kaip ir čia.  
Tuo tarpu viskas. Net vaizduotės tūris.  
Tie patys kilometrai ligi jūros,  
Kuri nakčia

Išgirsta mudu. Po žalia danga  
Beveik vienodai švyti sunkios lempos.  
Skirtingas laikrodžio rodyklių tempas  
Pavojingesnis, nei karti banga  
Tarp mudviejų. Nutoldamas erdve,  
Daraisi nepažįstamas, lyg medai  
Ir graikai. Mes palikom savo gėdai  
Šiame laive,

Kuris ir žiurkėms — nesaugi vieta.  
Įsižiūrėjus, tai visai ne laivas,  
O mūrai, blizgantys stogai, nelaimės,  
Per greit pasikartojusi data —  
Žodžiu, brandumo laikas. Ta globa  
Mus persmelkia lig smegenų. Tie plotai,  
Kaskart tuštėdami, akis užklotų,  
Jei ties riba,

## ЩИТ АХИЛЛЕСА

Иосифу Бродскому

Затем лишь, чтобы тоже различить,  
Как на экране нервов ты когда-то,  
Часовен этих каменных ограды,  
Пустую пепельницу и ключи.  
Ты не ошибся: всё и здесь одно  
И то же. Вплоть до представлений. Даже  
До моря те же километры, так же  
В ночи оно

Внимает нам. Под зеленью слюда  
Фонарных ламп различна лишь отчасти.  
Иная скорость стрелок на запястьи  
Опаснее, чем горькая вода  
Меж нами. Удаляясь в пустоту  
Пространства, ты неузнаваем — впору  
Мидийцам, грекам. К вящему позору,  
Мы на борту,

Небезопасном и для крыс. Смотри:  
Блеск мокрых крыш, кирпич стены, невзгоды,  
Мелькающие годовщины — годы,  
Короче, зрелости. Опека изнутри  
Пронзает мозг. Простор, день ото дня  
Пустеющий, засыпал бы глазницы,  
Когда бы не встающий у границы,  
Где дождь, звеня,



Kame klajoja statmenas lietus,  
Nekiltų iškilmingas garso skliautas,  
Šią ūmią vasarą beveik sugriautas,  
Bet davęs mums palaimintus varžtus,  
Kurie turbūt sutampa su dvasia —  
Apdegina ir ugdo, lemia formą,  
Nes mūsų dangūs, mūsų *terraferma* —  
Tiktai balse.

Ramybė tau. Ramybė man ir tau.  
Tebus tamsa. Tegu sekundės bėga.  
Pro tankią erdvę, daugiasluoksnį miegą  
Kiekvieną tavo raidę įskaitau.  
Išnyksta miestai. Vietoje gamtos —  
Tik baltas skydas, nebūtį nusvėręs.  
Jo raižiniuos abi skirtingos eros  
Atsikartos

(Tenepristinga laimės ir jėgų!)  
Lyg vandeny. Ar, teisingiau pasakius,  
Lyg tuštumoj. Į krantą vilnys plakas  
Ir ardo judrų piešinį. Langu  
Kvadratai plieskia juodumu. Sapne  
Pro stiklą sunkiasi įšilęs oras.  
Už bokštų aidis tolimas motoras  
Ir į mane

Ridena parą. Kartais pamatai,  
Kaip aklumoj įsisiūbuoja varpas,  
Ir praslenka bekraštis laiko tarpas,  
Kol jam dusliai atsako pamatai.  
Portalai virpa, dūžio įtempti,  
Ir arka siunčia signalus kaimynei,  
Ir susišaukia sielos ir žemynai  
Gyvoj naktį.

Отвесно ниспадает, бестолков —  
 Торжественный свод звука, в это лето  
 Едва не уничтоженный бесследно,  
 Но даровавший благодать оков,  
 Тождественных душе — гончарный круг,  
 Печь обжига, где стекленеет форма.  
 Лишь голос — наше небо, терраферма.  
 Лишь чистый звук.

Так мир тебе. Мир нам обоим. Да  
 Будет тьма и бег секунд. Сквозь вязкость  
 Пространства, сна — отчётливою вязью  
 Любая твоя буква. Города  
 Не вечны. Белый щит — наперекор,  
 В противовес небытию — на месте  
 Природы. Две отдельных эры вместе  
 Его узор

Повтóрит как вода (достало б сил  
 И времени), как пустота. О берег  
 Бьют волны, и стирают в мерном беге  
 Подвижные рисунки. Блеск чернил  
 В квадратах окон. В многослойном сне  
 Сквозь стёкла воздух теплотой сочится.  
 За башнями мотор далекий мчится,  
 Который мне

Привозит сутки. Иногда, слепой,  
 На колокольне колокол качнётся,  
 И, вечность позже, глухо содрогнётся  
 Ему в ответ фундамент под тобой.  
 Дрожат порталы, стены, потолки,  
 Аукаются арки, звук всё глуше.  
 В живой ночи друг друга кличут души,  
 Материки.

Prie burių limpa nešvari migla.  
Šlapia krantinė kaista ir garuoja.  
Regi Termopilus, regėjęs Troją —  
Tau duotas skydas. Tu esi uola  
Pilioriai, suręsti ant tos uolos,  
Į vėją smeigia spindintį metalą,  
Nors ji ir stūkso netoli nuo melo  
Ir nuo tylos.

Mums patikėjęs mūsų likimus,  
Žengi dabar į atminimų lygį,  
Bet kiekviena akimirka — dvilypė,  
Ir dviguba šviesa palydi mus  
Kasdien, kasnakt siaurėjančiam rate.  
Atoslūgis. Ant smėlio žvilga valkos.  
Akis dar neskiria akmens nuo valties  
Tuščiam krante.

На парус липнет утренняя мгла.  
Туман над парашютом влажной пылью.  
Ты, зревший Трои, видишь Фермопилы —  
Тебе дарован щит. Ты есть скала.  
Молчанье, ложь в окрест лежащей мгле,  
Но лезвием блистающим упрямо  
Разят упругий ветер опоры храма  
На сей скале.

Вручив нам наши судьбы, ты сейчас —  
Воспоминаний беглых вереница,  
Но каждое мгновение двоится,  
И свет двоякий провожает нас  
В сужающемся день и ночь кругу.  
Отлив. Мерцают лужи. Глаз покамест  
Не различает: лодка или камень  
На берегу.

1972

\* \* \*

Parašyk eilėraštį apie pokalbį su paukščiais.

Iš laiško

Nors šulinys bedugnis ir staigus,  
Į juodą žvilgesį pažvelgti drįsta  
Žvaigždynas, nendrė, volungė, žmogus —  
Juos jungia netikėta giminystė.

Dažnai atrodo — tai viena šviesa,  
Daug sykių perlaužta per gaudžią prizmę.  
Kiek skirias tavo dulkės ir tiesa  
Nuo strazdo sidabruojančių sofizmų?

O priešaušryje, vasaros gale,  
Kai skliautas sklaidos ir pasauliai byra,  
Viena ir ta pati akla galia  
Užgriūva jus, tarytum trapią lyrą.

\* \* \*

Напиши стихи о разговоре с птицами.

Из письма

Колодец крут, но в черноте его  
Как будто не страшатся отразиться  
Почуявшие странное родство  
Созвездье, человек, тростник и птица.

Их свет един — по-разному вольна  
Его ломать зияющая призма.  
Чем прах и истина отделена  
От серебристого дрозда софизма?

А в час, когда перед рассветом тощ  
Небесный купол — осыпаться миру.  
И прежняя беспмятная мощь  
Их разбивает вдребезги, как лиру.

1973

\* \* \*

Lyg nuotraukoj, erdvu ir nesaugu,  
Padangė atitolsta nuo stogų,  
Sugėrus miesto balzganąjį marą.  
Ankstyvas šaltis persmelkia žodžius,  
Apsvilindamas burną ir plaučius  
Imperijoje prie užrakintų marių.

Nė ženklo nebesiunčia praeitis.  
Pajuodus saulė plieskia į grindis,  
Ir vieną kartą baigiasi kelionės,  
Kur plyti nepataisomai griežta  
Gimtavietė, aklavietė, našta  
Ir pelkėn grimzta Pągestumo kolonos.

Antradienis. Giedra. Beveik žiema.  
Prie suomių šcherų glaudžias žemuma,  
Lyg miego centrą kaustydama uostą,  
Galbūt tada, o gal jau kažkada  
Virš upės persilaužia valanda,  
Ir laikas persikūnija į mostą.

\* \* \*

Простор, рисковый как на фото. Вот  
От кровель отшатнулся небосвод —  
Он городской чумой белесой пóлон.  
Мороз способен лёгкие обжечь  
В Империи, где замерзает речь,  
Рот обморожен, море на запоре.

Ни знака больше прошлое не шлёт.  
Обугленное солнце в доски бьёт.  
Скитальца родина приемлет в лоно —  
Пространство тупиковое, к счетам  
Непоправимо строгое. И там  
В болоте тонут древние колонны.

Сегодня вторник. Ясно. Но почти  
Зима. И к финским шхерам по пути  
Низина льнёт. Застыла гавань — в месте,  
Подобном центру сна. Сейчас, потом  
Река запомнит времени надлом...  
И время перевоплотится в жесте.

1974



## SESTINA

Maždaug šešta, ir apledėjęs kelias  
Nukrypsta šiaurėn. Žvangčioja grandinės  
Ant padangų. Duslus plieninis aidas,  
Lyg ežero paviršius, mirga priešais.  
Besvoris ir žaizdotas kovo sniegas  
Dar bando dengti sunaikintą girią.

Nei plaustas, perskyręs nejudrią girią,  
Sustoja žvilgsnis. Jį klaidina kelias,  
Savy keliskart atsimušęs sniegas  
Ir monotoniškos beržų grandinės.  
Giedram ūke iškyla svirtis priešais  
Tuščius namus. O visa kita — aidas

Ir oro krešuliai. Betikslis aidas,  
Kurso visai nėra, skardena girią.  
Grafito veidrodis juoduoja priešais  
Didžiulę tamsumą. Mums duotas kelias  
Ir iš dangaus nukritusios grandinės —  
Nematomas, tačiau galingas sniegas.

Pavasario senatvę stebi sniegas  
Ir ardo klausą daugiaveidis aidas.  
Lyg tvenkinys, nutrūkęs nuo grandinės,  
Akla mintis įsigeria į girią.  
Čia nepadės benzinas, baltas kelias  
Nei spindžio ruožas, išryškėjęs priešais.

## СЕСТИНА

Шесть вечера, и льдистая дорога  
 Ведёт на север, звякают убого  
 На шинах цепи. Эхо глухо, строго  
 Звучит. Над гладью озера — тревога.  
 Снег мартовский спешит прикрыть немного  
 Лесистый склон, чернеющий полого.

Недвижный лес, чернеющий полого,  
 Цепляет взгляд. Обман сулит дорога.  
 Снег, отражённый сам в себе, немного  
 Слепит глаза, и цепь берёз убога.  
 Журавль колодезный; царит тревога  
 В пустых домах. Но, поразмыслив строго,

Всё — сгустки воздуха. И эхо строго  
 Гудит в лесу, сползающем полого.  
 В графите зеркала живёт тревога  
 Тьмы непомерной. Но дана дорога.  
 Цепь, выпавшая из руки у Бога, —  
 Незримый снег. И он страшит немного.

Снег, старости весны страшась немного,  
 Следит за ней, и слух таранит строго  
 Звук эха многоликого. Убого  
 Мысль вязнет в склон, сползающий полого.  
 Бензин в порядке. Белая дорога  
 И просеки открывшейся тревога.

Beformė visata išeina priešais.  
Žvarbi žvaigždė, netekęs proto sniegas  
Apsiaučia lygumą, ginkluojas, kelias.  
Šešėlis, atspindys, paveikslas, aidas  
Pripildo Ardeno griuvėsių girią,  
Ir jų kaita — vienintelės grandinės.

Ar mus užgrūdins Tavosios grandinės?  
Daiktai ir elementai stoja priešais  
Mane. Paliksiu tą atšiaurią girią,  
Kur medį apsemia ir sergi sniegas,  
Ir žodį pavaduoja tuščias aidas,  
Ir viskas baigiasi. Galbūt ir kelias

Yra grandinės. Man užgintas kelias  
Į Tavo girią. Žemę stingdo sniegas.  
Mes virtom priešais. Tu esi tik aidas.

Вселенной студенистая тревога.  
Лёд звёзд; снег, обезумевший немного,  
Берёт в осаду дол, в плену дорога.  
Тень, эхо, или призрак, зрящий строго,  
Арденский лес, сползающий полого,  
Обжили. Декорация убога.

Во благо ль груз цепей Твоих? Убога  
Душа. В предметах прячется тревога.  
Враждебен лес, сползающий полого,  
Где снег походит на конвой немного.  
Речь, эху уподоблена, не строго  
Звучит. В Твой лес заказана дорога.

Как ни убого — мне одна дорога.  
Полого сыплет снег. Свербит немного  
Тревога. Ты — лишь эхо, если строго.

1975

## NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA

Konstantino Bogatyriovo atminimui

Mane ištiko amžiaus vidurys.  
Aš gyvenau, bet mokiausi nebūti.  
Mirtis man buvo lyg šeimos narys,  
Užėmusi didesnę dalį buto.  
Aš ją po truputėlį jaukinau  
Ir net prašiau, kad ji manęs nelieštų,  
O paryčiais regėjau, kiek žinau,  
Gražiausiąjį Rytų Europos miestą,  
Kur savo laiko laukia geležis,  
Migloj šiurena pūvantis nendrynas,  
Yra akmuo, kastetas, garvežys  
Ir gal geriausiu atveju — benzinas.  
Miegojau, gėriau, valgiau mirtyje,  
Bandžiau suteikti jai tikslus ir prasmę,  
Net ją primiršdavau. Tačiau su ja  
Žmogus beveik negali apsibrasti.

Aš rakinau koridorių. Širdis,  
Praradus ritmą, sunkino krūtinę.  
Tiesa, toje valstybėje mirtis  
Galėjo būti net atsitiktinė.

## NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA

Памяти Константина Богатырёва

Я про́жил жизнь, учась небытию.  
Меня настигла середина века.  
Смерть, принятая некогда в семью,  
В квартире потеснила человека.  
Я эту тварь пытался приручать,  
Просил её меня не трогать, чтобы  
По-прежнему под утро наблюдать  
Прекраснейший из городов Европы, —  
Где ждёт железо выхода на свет,  
Тростник гниёт во мраке без движенья,  
Локомотив, булыжник и кастет,  
А в лучшем случае — самосожженье.  
Я ел, и пил, и спал в обнимку с ней,  
Искал в ней цель и смысл, неосторожно  
Хотел забыть её. Но с мыслью сей  
Смириться человеку невозможно.

Я ключ вертел в замке, стремясь успеть,  
И сердце в рёбра бешено стучало.  
Для справки: в этом государстве смерть  
Порой и правда может быть случайна.

1976

**Iš rinkinio**  
**“Tankėjanti šviesa” (1990)**

**Из сборника  
«Сгущающийся свет» (1990)**



## **PADĖKOS DIENA**

Bala pašlaitėj tvoskia metalu.  
Arklys rupšnoja dygiaodę veją.  
Aštuonios moters triūsia prie stalų  
Rudens ir lygumos centre. Ohio  
Savaitgalį prisodrina rasa.  
Lomoj rūdija klevas (ar vagonas,  
Neatskiriu). Tankėjanti šviesa,  
Wisconsinas, Dakotos, Oregonas

Ir Orionas. Viešpaties griūtis  
Virš prarastos erdvės. Kol nykų plotą  
Vienodais dūžiais trupina širdis,  
Tebus už naują žemę padėkota.  
Ji man neperregima, bet gyva.  
Aš jai neperregimas, bet sakyčiau,  
Jog Odisėją persenęs šuva  
Veikiau pažins ne tėviškėj, o šičia.

Dėkoju už atsakymus, kurių  
Bemiegis protas vytis nebespėja,  
Už tai, kad naują vandenį geriu,  
Už būsimas žoles. Už kantrų vėją

## **ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ**

Болотный склон припахивает ржой.  
Конь щиплет иглокожий луг. Усердьем  
Восьми студенток стол сооружён.  
Центр осени. В Огайо воскресенье  
Росисто. И ржавеющий предмет —  
Будь это клён или скелет вагона —  
В лощине. И сгущающийся свет  
Висконсина, Дакоты, Орегона

И Ориона. Боже, Твой обвал  
В утраченном пространстве. Ставя мету  
На сердце, дробном как приборный вал,  
Я возблагодарю за землю эту,  
Что непрозрачна для меня (и ей  
Я непрозрачен), но пригодна к жизни.  
Знать, дряхлый пёс Улисса здесь скорей  
Меня узнает, нежели в отчизне.

Благодарю за то, что смог задать  
Вопросы не уверенный в ответе  
Бессонный мозг. За неба благодать.  
За шелест трав. За терпеливый ветер

Virš jų. Už kapą svetimoj šaly.  
Už svetimo akmens nebaisų svorį,  
Už nebūtį. Už tai, kad Tu gali  
Iš jos atkurti būtį. Jeigu nori.

Už juodą sferų muziką. Už tai,  
Kad ši diena ją visą sutalpino.  
Įpratę būti prieblandoje, daiktai  
Atsikartoja šia pus vandenyno.  
Trys laikrodžiai sustoja į kertes.  
Tinklainė, nebijodama suklysti,  
Atranda spyną, staltiesę, žvaigždes  
Ten pat, kur jas atrasdavo vaikystėj.

Над ними. За погост в чужой стране,  
За камень, на который села птаха,  
И за небытие. За то, что не  
Захочешь воссоздать меня из праха.

За чёрную музыку сфер. За мрак,  
Исчерпанный душой. Довольно странно:  
Привыкнув к сумеркам, предметы так  
Подобны тем, что там, за океаном.  
Часы стремятся наперегонки.  
Сетчатка, как проверенное средство,  
Находит скатерть, звёзды и замки  
Всё там же, где их находила в детстве.

1979

## ŠEREMETJEVO, 1977

Praėjęs muitinės šaltį, ginkluotų sargų rikiuotę,  
Užkopęs laiptais į skurdų valiutinį rojų,  
Susigriebiau, jog nepamojau keliems, kurie pasilieka.

Lėktuvui dar nepakilus jie amžiams tapo šešėliais,  
Aidais telefono gelmėj, adresais primirštoj knygutėj,  
Ir tai vienintelis mūsų laiko stebuklas.

Žinojau, balsai sutrupės ir žodžiai pavirs į dulkes,  
Fotografijų prietemon trauksis pažįstamas veidas,  
Kol jį pagaliau atstos lentynos ir lempa.

Nežinojau, ar aš, ar jie — Persefonės nelaisvėj.  
Nuo staliuko žiūrėjau į lygų lauką už stiklo —  
Savo pamestą kūną, kaip sakė čionykštis poetas.

Ten greta elektrinės netrukus įdrėkusi saulė,  
Tramvajai čežės, taškydami purvą kovo bulvaruos,  
Atitirps tvenkiniai prie Didžiosios Gruzinių gatvės.

Ten kadaise arti daugialangės pokario sienos  
Kniūbsojo iš aukštai nukritęs vyras, milicija sklaidė žmones,  
Ir aš ne iš karto supratau, ką tai reiškia.

Nuo dabar man duota pakankamai laiko suprasti —  
Dvylika, dvidešimt, gal ir trisdešimt metų  
Tamsiuos kambariuos, erdviuos ir tamsiuos žemynuos.

## ШЕРЕМЕТЬЕВО, 1977

Пройдя сквозь холод таможи, сквозь строй настороженной стражи,  
Вскарабкавшись по ступенькам в скудный валютный эдем,  
Вспомнил, что не помахал рукою тем, кто остался.

Ещё до отлёта они уже превратились в тени,  
Голос на дне телефона, адрес в забытой книжке —  
Времени нашего, может, единственное чудо.

Я знал: голоса рассыплутся, слова обернутся прахом,  
В полумрак фотографий отступят знакомые лица,  
Пока, наконец, их не вытеснят книжные полки и лампа.

Не знал, кто из нас в плену Персефоны — я ли, они ли.  
Смотрел сквозь стекло из-за столика на чистое лётное поле —  
На брошенное тело, как здешний сказал поэт.

Подле электростанции повиснет влажное солнце,  
В марте трамвай, шелестя, грязь на бульварах разбрызжет,  
Соро оттают пруды рядом с Большой Грузинской.

Некогда там, у стены послевоенной высоты  
Мёртвый лежал ничком, менты зевак разгоняли,  
Сразу я и не понял, что это значит.

С этой минуты мне время дано с излишком,  
Чтобы понять — двенадцать, двадцать, а может тридцать  
Лет — в тёмных комнатах, на континентах просторных и тёмных.

Ir beveik ten pat pasibeldus girgždédavo raktas,  
Ir beveik ten pat patyriau, kaip švyti eilutė,  
Nuo kurios ryškėja vidunakčio medžiai ir sniegas.

Negimtoji šalis, patikėta kaip laikinas kūnas,  
Ligi Barenco jūros klampi nelaimėjusių žemė,  
Lėktuvų kryžiai viršum nematomo miesto.

Там же в ответ на стук дверь ключом отворялась.  
Там же, поблизости, я узнал, как строка сияет,  
Как она озаряет в полночь снег и деревья.

Страна неродная, данная как временное тело.  
До льдистого моря — топкая почва непобедивших,  
Где над незримым городом сияют кресты самолетов.

1985



\* \* \*

Naktį didžiulė knyga suplasnoja tarytum sparnai —  
Juodas, ugnim išrašytas Egzodas, o gal tik žodynas,  
Šifrai, hieroglifai, skaitmens... Prasmė, užsklęsta aklinais,  
Tai, ko nedrįsta kartoti kristalas, kregždė ir žolynas.

Sunkiai pasvirus, be tikslo praplaukia žvaigždynų šlovė.  
Siela sutapo su amžium, o amžius per pusę nutrintas.  
Sielas įkalina laikas, o kūnus klaidina erdvė,  
Ir nebeatskiri, kur fotografija, kur labirintas.

Fosforas, auksas ir magnis! Toscanos dangaus elektra!  
Žodis praranda pilnatvę, nuo garso atskyla šešėlis.  
Mirė lotynų kalba, ir dainuojančių diskų nėra,  
Sintaksė trupa ir skaidosi. Juodžemis, molis ir smėlis.

Gal tik jaustukai ir priegaidės painiavą atitaisys.  
Maža ragavom medaus, bet patyrėm, ką verta patirti:  
Sodas, šaltinis, akmuo... Neaukštų debesų blizgesys,  
Nieko staigesnio už būtį ir nieko tikresnio už mirtį.

Niekad neklauski, kodėl. Tik tasai, kas pravėrė duris  
Ten, kur nėra nei kalvos, nei žvaigždės, nei išganymo  
laido,  
Atstumia laiką skydu, lyg pargriuvęs etruskų karys,  
Pasemia prasmę ranka ir suvilgo nebesantį veidą.

\* \* \*

Ночью огромная книга словно крылами всплеснёт:  
Может, словарь, а может — смысл запечатанный тайный,  
Шифр, иероглифы, числа... Пламенем шитый Исход;  
То, чему вторить не смеют ласточка, травы, кристаллы.

Тяжко кренясь, бесцельно слава созвездий плывёт.  
Век, что сросся с душою, стёрся наполовину.  
Души в плену у времени, плоти пространство врёт.  
Разницы меж фотографией и лабиринтом не видно.

Золото, фосфор и магний! Тосканских небес электрод.  
Тень отслоилась от звука и слово скудеет позорно.  
Нет больше дисков звенящих, латынь умерла в свой черёд.  
Синтаксис крошится. Глина, песок с чернозёмом.

Может быть, лишь междометиям, лишь удареньям дано  
Всё упорядочить. Мало мёда вкусих, сумели  
Зреть родники и камни, сад... Но нет всё одно  
Внезапнее бытия и непреложней смерти.

Не вопрошай же: «Зачем?» Ибо в пространстве том,  
Где ни холма, ни звезды, ни спасения душ не бывает,  
Падший этрусский воин время теснит щитом;  
Черпая смысл ладонью, мёртвый лик омывает.

1987

\* \* \*

Už pusmylio, kur kertas autostrados,  
Įžiebia liepsną titnago grandis.  
Atodrėkis. Paversmiuos krūpsi ledas  
Ir netelpa uosyno atspindys.

Kol kas pradžia, kol kas ne pats kartumas.  
Skaidrioj migloj suakmenės krantai,  
Ir netgi Dievas, apsimetęs dūmais,  
Išsisklaidys. Bet aš ne apie tai.

Tikėk žiema. Gerk palaimingą šaltį.  
Didžiuokis tuo, kad netekai namų.  
Nelyginant bėglys, prigludęs valty,  
Alsuok tamsa ir druskos giedrumu.

Itakės kauburius apgaubia miegas,  
Ir kūdikiai neatmena skriaudos,  
Ir bus tiktai mirtis, ir drėgnas sniegas,  
Ir muzika, ir nieko niekad.

\* \* \*

На расстояньи полумили — там, где  
Из кремня искру высекло шоссе,  
Мерцает лёд, но, в оттепель подтаяв,  
Родник не отражает рощи всей.

Пока ещё не время. Горечь мнима.  
Во мгле прозрачной побережье льдом  
Скуёт; и Бог, под видом струйки дыма,  
Растает в воздухе. Я не о том.

Верь в зиму! Пей! Её настой холодный  
Благословен. Гордись, что дома нет,  
Как беженец, скукожившийся в лодке,  
Вдыхая тьму и соли ясный свет.

Сон хólмы Итаки окутал стужей.  
Младенцы спят, дурных не помня дел.  
И будет смерть, и мокрый снег снаружи,  
И музыка, и никогда нигде.

1987

**Iš rinkinio “Reginys iš alėjos”  
(1998)**

**Из сборника «Вид из аллеи»  
(1998)**

**TU, FELIX AUSTRIA**

Šiame mieste,  
kuriam apkarto gelbėti žmoniją;  
kur šitiek neurastenikų pagijo,  
kabinete  
gličius sapnus  
per jėgą išpažinusių ant sofos;  
kur mirtį mąstė senstančios Europos  
nemylimas sūnus,

taip nelemtai  
nepriimtas į dailininkų luomą, —  
verpetas vandeny linguoja luotą  
ir supasi krantai  
po dviguba kaštonų grandine.  
Kavinėj kosčioja pernykštis rokas,  
ir ne griuvėsiai, o svarus barokas  
su balkone

įstrigusia žvaigžde  
tau liudija šalies puikybę. Ritmas  
aptemdo sąmonę. Į vyzdį ritas  
įlinkęs oras ties aikšte.

**TU, FELIX AUSTRIA\***

Вот город, где  
устали мир спасать, как прежде было;  
где столько неврастеников излило,  
сварясь в стыде,  
свой липкий сон  
в кушетку кабинета, как в утробу;  
где мыслил смерть стареющей Европы  
позорный сын,

художник, не  
воспринятый собратьями по цеху, —  
качается, слегка бряцая цепью,  
лодчонка на волне;  
каштаны над водой.

В кафе хрипенье давешнего рока,  
и не руины — зримое барокко  
с большой звездой,

цепляющей балкон —  
гордыни знак. Ритм — мысли усыпляет.  
Зрак — гнутый воздух площади вбирает  
со всех сторон.

\* «Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube» — «Пусть воюют другие, ты, счастливая Австрия, справляй свадьбы» — старинный девиз австрийской империи.



Jo skaidruma  
tokia, jog, rodos, žengsi ir parpulsi,  
ir padeda tik muzikos ir pulso  
amalgama.

Anki nuo debesų spalvos,  
brendi po arkomis, beveik sutapęs  
su dulkėm, granitu, alyvų lapais,  
nerasdamas kalbos  
su šia darna,  
per staigiai išblokštas iš savo laiko,  
dar nesuvokdamas, ar tai nelaimė,  
ar dovana.

Neatitiesdamas liemens,  
Sizifas gauna pailsėti kalno  
viršūnėj, baugiai atitraukęs delną  
nuo blizgančio akmens —  
naštos, kuri  
jį tiek eonų grūdino ir ardė,  
dabar įgrimzdusi žvirgžde, bevardė  
ir nejudri.

Saulėta ir ramu.  
Erdvėj putoja žydintis erškėtis,  
ir pirmąsyk nereikia galynėtis  
su likimu,  
ant titnaginio statmeno peties  
žarstyti žolę, klupinėti, slysti,  
ir po akimirkos išdils jaunystė  
iš atminties.

Ir jeigu bent  
nutrūkęs sakinyš dar drumsčia sielą,  
tai gal tik standūs varpo dūžiai: *Bella  
gerant...*

Прозрачность в точь  
такая, что, ступи по тверди зыбкой, —  
лишь амальгаме пульса и музыки  
дано помочь.

Сверкают облака.  
Бредёшь под арками, алкая тени,  
с гранитом, с пылью, с листьями сирени  
сливаясь, языка  
единого не находя  
с гармонией — ты, столь внезапно выдран  
из времени, ещё не сделал вывод:  
несчастье это или дар.

Вершина. Сгорбленный Сизиф  
вкушает мирный отдых, привыкая,  
свою ладонь от блещущего камня  
со страхом отделив —  
что вместе с ним  
прошёл бессчётные зоны, грабя,  
но закаляя дух, а нынче, в гравий  
зарывшись, безымянен, недвижим.

Такой покой.  
Шиповник пенится в пространстве дымном;  
впервые звать судьбу на поединок  
нет никакой  
нужды — скользить в траве, страшиться змей,  
не знать, чем склон кремнистый обернётся;  
спустя мгновенье молодость сотрётся  
из памяти моей.

Итак, талант  
покоя овладел душой всецело,  
и лишь удары колокола: «Bella  
gerant...» —

Ir jei naktį  
į jūrą leidžiasi vargingas plaustas,  
kurį tuojau parbloškį jūdūkęs Austras,  
ten mirs kiti,

ne mes.  
Išblunka kraujas, virsta dulkėm tankas.  
Era pasibaigė, ir maras renkas  
naujas žemes.  
Į tą pasienio stotį, kur ugnis —  
erdvės sesuo, kur Kristui arba Mozei  
atsikerta kalašnikovų Morzė,  
jau neina traukinys.

Barokinis dangus  
virš Habsburgų tvirtovės nusileidžia.  
Tik už akiračio, kur oras žeidžia,  
kur įduboje glaudžiasi žmogus,  
apirusiuos kalnuos,  
kur švinas mėšą taip lengvai suranda,  
nėra spragos tarp Franzo Ferdinando  
ir šios dienos.

Skeveldrų išardyta lapija  
pajuodusiu gipsu užlipdo burnas,  
ir savo sėkla sotinas Saturnas,  
kaip amžių pradžioje.  
Ir vis dėlto ne čia  
į luitą lydo išnaktės ir rytą  
pranokus mirtingiesiems lemtą ribą  
kančia.

Stovykloj ant akmens grindų  
bėgliai ragauja troškų laisvės orą,  
beženklame sapne patyrę porą  
laimingų valandų,

её чуть-чуть смутят.  
И если ночью в море Австр бесчинный  
убогий плот отдаст во власть пучине,  
погибнут там

уже не мы.  
Кровь выцвела, танк оплетает зелень.  
Конец эпохи, и иные земли  
ушли под власть чумы.  
В то пограничье, где в ответ  
Христу ли, Моисею ли морзянкой  
пошёл брехать калашников — назавтра  
уже не взять билет.

Барокко облаков  
над замком Габсбургов. А там — за гранью,  
за горизонтом — где и воздух ранит,  
где смертный, бестолков,  
в расселинах таится под огнём,  
свинцу живую плоть искать не надо —  
зазора нет меж Францом Фердинандом  
и настоящим днём.

Порушенный осколками ковёр  
листвы, как чёрный гипс, забился в глотку.  
Сатурн, как на заре времён, в охотку  
детей сжирает до сих пор.  
И всё-таки не здесь  
боль воедино сплавит день и вечер,  
презрев предел, что у страданий вечных  
для смертных есть.

На каменном полу,  
спят беженцы, и воздуху свободы,  
не зная сновидений и заботы,  
творят хвалу.

o tie, kuriuos skylutė smilkiny  
apsaugojo nuo žemiškų pavojų,  
tikriausiai sunkesnius sapnus sapnuoja  
ir vis dėlto šiek tiek laimingesni.

Mirtis ne čia, ji visada šalia.  
Ją vis tiksliau atliepia varpo tonai,  
ji granite, kaitroj, vyne ir duonoj,  
kaštonų ir akacijų tinkle,  
sapnuos. Istorija — mirties dalis.  
Teisus ne Hegelis, o Galilėjus:  
*Eppur si muove*. Kurčias, apanglėjęs  
pasisuka į tamsą rutulys.

Kas tau atrodė dabartis,  
yra tik laiko paneigimas. Miegas  
neatgaivins. Už lango plyti niekas  
ir debesys. Mirtis ne čia. Mirtis  
šalia. Ji kuičias kambario narve,  
išbraukia bloknote eilinę datą,  
paskui pažvelgia veidrodin — ir mato  
tave.

O kol ji dar gaišuoja juosvame  
stikliniame ore, Sizifui dera  
šiam, nelinkusiame skirti gera  
ir bloga, sename  
bemiegiam mieste  
išgauti esmę iš nuskirto mito  
ir veltui laukti Viešpaties trimito  
aštriam lyg deimantas šlaite

Но те, кто там лежит,  
дырой в виске спасённый от сражений  
земных, кто видит сны, живых тяжеле, —  
счастливей тех, кто жив.

Смерть вечно рядом — а не там, где прах.  
В вине и хлебе, в звоне колокольном,  
в жаре, в граните и в прохладе комнат,  
в тени каштанов и во снах.  
История — часть смерти. Знак  
того, что прав не Гегель — Галилео:  
Errur si tuove. Обугленный, нелепый  
шар совершает поворот во мрак.

Что мнилось настоящим — есть  
лишь отрицанье времени. Дремота  
не освежит. Раскрыто для полёта  
окно. Но смерть не здесь.  
Смерть рядом. Рукописи теребя,  
рвёт лист календаря привычным жестом,  
у зеркала глядится в отраженье —  
в тебя.

Пока в стеклянном воздухе она  
замешкалась, Сизифу в этом старом  
бессонном городе, где не пристала  
мысль о добре и зле, дана  
отсрочка, чтобы здесь, сейчас  
познать суть мифа, коль ещё не поздно,  
и тщетно ожидать трубы Господней  
на склоне, остром как алмаз.

## ĮLANKA

Jei plauktų debesis, jei saulė nuobodžiautų  
virš deltos atmatų, virš daugiaspalvio srauto,  
turbūt suvoktume, jog mums užteks meldyno  
ir juoda išsverme prisodrinto raidyno.

Išardoma, prie ko suspėta prisirišti.  
Nors vėjo biblija mus ragina sugrįžti  
į kūno ląsteles, nelyginant už groty,  
jų neužims tasai, kurio „išemigruota

iš dabarties“, anot jau mirusio poeto.  
Jis netgi nebūty praras ribas ir vietą,  
ir uosto kateris, akiračius pasupęs,  
į krantą išskalaus iš Heraklito upės

tik formas. Erdvėje boluoja skliautai, kriauklės,  
arkados. Jas vis vien regėsi, pasitraukęs  
į veidrodžio sodus, į savo pulso tylą,  
į adresą, kuris nekinta, bet sudyla.

## **ЗАЛИВ**

Когда бы облак плыл, и скучное светило  
над пёстрым мусором, над дельтой не застыло,  
нам стало бы хватать лишь камышовых видов  
и чёрной стойкости родного алфавита.

Распорото всё то, с чем ты успел сродниться.  
Хоть библия ветров зовет нас возвратиться  
в клетушки тел, в тюрьму, невероятно это  
для тех, кто, по словам умершего поэта,

лишь «эмигрант из настоящего». Границы  
он и в небытии утратить исхитрится;  
качая горизонт, почтовое корыто  
лишь формы выплеснет из речки Гераклита

на берег. Белизна пространства — суть аркады,  
ракушки, своды. Ты не избежишь их взгляда,  
шагнув в утихший пульс, в сады из зазеркалья,  
в тот адрес, что уже не сменится на камне.

1995



## LAS MENINAS

Devynios ar vienuolika figūrų:  
nykštukai, kameristės, atspindys  
tamsaus akylo veidrodžio lauke,  
ir autorius, tuo tarpu nepradėjęs

paveikslo, kantriai slepiamo nuo mūsų  
ketvirtas šimtmetis. Anot Foucault,  
jis tapo mus. Bet modelis, žiūrovas,  
patsai tapytojas galbūt yra

vienatinio pirmavaizdžio skeveldros.  
Šviesos daugiau, nekaip galėtų skliti  
iš lango (ji, lyg rojuje, nustelbia

dosningai žarstomą netobulybę).  
Ir žvilgsnių sankryžoj bekūnis žvilgsnis,  
kurį teptukas moko neišnykti.

## МЕНИНЫ

Фигур же девять: карлы, камеристки;  
или одиннадцать — включая те,  
что скрыты в зеркале глазастом, плюс  
сам автор, до сих пор не приступивший

к картине, что от наших глаз сокрыта  
четвертое столетие. По Фуко,  
он пишет нас. Но и модель, и зритель,  
и живописец, вероятно, суть

прообраза единого обломки.  
Чуть больше света, чем могло проникнуть  
в окно (он, как в раю, преодолагает

несовершенства щедрое транжирство).  
И в перекрестьи взглядов — бестелесный  
взгляд, кистью обреченный не исчезнуть.

1995

## FAIDRO TĘSINYS

Žemė Sirijaus valioj. Zenitas kaitrus. Valanda —  
kelinta po vidudienio. Slūgsta, paraginta saulės,  
sukrekėjusi dykvietė, balkšvo šiukšlyno žaizda,  
kurioje prasisiekia įtrūkęs akropolio kaulas —

baltuma baltumoj. Taip šlamėjime skleidžias kalba,  
taip įbrinksta ir skaudina auganti siela, atlaikius  
savo kūno slėgimą. Ką gelbėjo laiko globa?  
Spinduliavimą, spalvą. Ir visa tai buvo *ein Gleichnis*.

Visa buvo lenktynės. Kur žirgus nukreipia ranka?  
Už pasaulių ribos — ar į vaiskią bedugnę, kur žydi  
protoplazmos verpetai, bekraujė rūgštis ir druska,  
ir klusni Mnemosinė užleidžia vadžias Nemesidei?

Dar nerimsta burna, dar skardus gomurys po giesmės.  
Ją užbraukia tylą, kaip šešėlis užbraukia skulptūrą,  
išrišimas čia pat, ir tiesa nebetenka prasmės,  
kai jonėnišką metrą pagauna artėjanti jūra.

## ПРОДОЛЖАЯ ФЕДРА

Время Сириуса. Пополудни который-то час.  
Зной в зените. Горячая пыль припорóшила мелом  
рану мусорной ямы белесой, где прямо сейчас  
прорезается треснувшей костью акрополь — на белом

белый. Так раскрывается в шелесте речь, так саднит  
нестерпимо душа, прорастая над тяжким надгробьем  
тела собственного. Что опека времён сохранит?  
Цвет, сияние. Всё это было ein Gleichnis, подобьем.

Это было ристалищем. Правит возница куда?  
За границу миров — или в бездну прозрачную внидет,  
где бурлит протоплазма, бескровная соль, кислота,  
Мнемозина послушная вожжи отдаст Немезиде?

Песнь окончив, тревожна гортань; но её зачеркнёт  
тишина, словно тень, зачеркнувшая статую. Может,  
отпущенье, решение рядом, но смысл ускользнёт  
в ионическом ритме, подхваченном рокотом моря.

1995

\* \* \*

Šioj pusėj akiračio kartą pabūkime dviese.  
Vyzdys atsigauna ir siela beveik atsitiesia,  
sustoja rodyklės, alėjos nutolsta į šviesią

dykynę. Kaitrioj tvankumoj negirdėt šeimininko.  
Gauruoto sidabro kamienai prie dirvos palinko,  
nėra nei kregždės, nei likimo, ir Viešpats aplinkui.

Pasaulis išvargina regą, nei protą — šachmatai.  
Akis ne kitabūtį — stiklą ir vynuogę mato,  
bet ji praskaidrės. (Tai įvyks po keliolikos metų).

Žėručio tvinksėjimą trupina pirštuose bangos  
ir lino užuolaidas įkvepia atlapas langas.  
Liks tai, ką išsaugos dosnaus amfibrachio žabangos:

platanai, šakas virš raupuoto asfalto susklendę,  
srovenantis niekas, apgaubęs putotą pakrantę,  
ir meilė — žvaigždžių pavara, jei tikėsime Dante.

\* \* \*

И нам до черты горизонта свиданье отмерено.  
Яснеет зрачок, и душа распрямляется медленно,  
часы застывают, аллеи уходят намеренно

на светлый пустырь. В духоте не отыщешь хозяина.  
Стволы в серебристой опушке склонились и замерли,  
ни ласточки нет, ни судьбы, ни Господнего замысла.

Вселенная взор утомляет — как мозг мучат шахматы.  
Глаз зрит не инобытие — алкогольные шалости.  
Лет десять минует, и мы уравниемся шансами.

Волна крошит острые льдинки меж пальцами мокрыми  
и лён занавески колышет морское безмолвие.  
Лишь то, что уловит силок амфибрахия, может быть,

останется: ветви платанов, останется вышнее  
Ничто, что окутало пенистый берег. И, для выживших,  
любовь, что — по Данту — есть вечных светил Перводвижитель.

1995

\* \* \*

R.K.

Žinau tik tai, kad jis praėjo (ar praeina) —  
tas juodas šimtmetis, galbūt ir nejuodesnis  
už keletą kitų, bet ypatingo masto.  
Jis buvo nuoseklus. Jis kūnus vertė skaičiais,  
o sielas trupino į puvenas ir nulį,  
kad protas tartųsi laimėjęs. Praraja  
apsimetė viltim — sakyčiau, gan sėkmingai.

Puikybės užmačioms dorai tarnavo krosnys,  
o gretimam rate — neperregimas ledas  
po akmenio žvaigžde. Vagonai dusdami  
riedėjo į Nėra, į vakarus ir šiaurę.  
Bet viskas laikina. Imperijų paminklai —  
purvynuos, tarp kibių dagių ir varnalėšų.  
Nutilo ruporai, ir skeldėja granitas.

Mes gimėm toj šaly. Dabar, kai ją paliekam,  
nedrįstam atsigręžt, nelyginant Orfėjas.  
Kas buvo su mumis? Ironija, kantrybė,  
labai retai — drąsa. Dažniau neaiškus jausmas,  
kad padarei kur kas mažiau, nekaip derėtų  
(išblėstanti kaltė — ar nuodėmė, kurios  
tau neatleis vaikai, net jei atleistų Dievas?)

\* \* \*

Р.К.

Я знаю, что оно как будто истекает —  
то чёрное столетье. Может, не чернее  
иных столетий — но иное по размаху.  
Последовательно оно сводило к числам  
тела, а души измельчало перегибом,  
нулями — дабы разум как-то победил.  
Надеждой притворялась пропасть. И успешно.

Гордыни умысел обслуживали печи;  
в кругу соседствующем лёд был непрогляден  
под каменной звездой. Вагоны в Никуда  
шли, задыхаясь, и на запад, и на север.  
Ничто не вечно. Монументы тех империй —  
в грязи, в чертополохе цепком, в лопухах.  
Умолкли рупоры, слышной распад гранита.

Мы, как Орфей, не смеем обернуться,  
не ведая, кого выводим из Аида.  
Что оставалось нам? Ирония, терпенье  
и редко — смелость. Чаще сумрачное чувство,  
что меньше сделал, чем предполагалось свыше  
(сходящая на нет вина — скорее грех,  
что, если Бог простит, то не простит ребёнок?).



Tik tiek ir rinkomės. Ir vis dėlto mokėjom  
tarytum dovaną priimti karčią tiesą.  
Negarbinom mirties. Virš bėgių ir betono  
stebėjom angelus. Mylėjom. Žiebėm lempą  
bibliotekoje. Vardu vadinom blogį  
ir gėrį, jusdami, kaip juos keblu atskirti.  
Tat nešamės tamson. Ir to galbūt gana.

Лишь это и смогли мы выбрать. Но умели  
принять как дар глоток из чаши горьких истин.  
Не восхваляли смерть. Над сталью и бетоном  
узрели ангелов. Любили. Возжигали  
свечу в библиотеке. Как-то различали  
по имени добро и зло. Уже с избытком  
довольно для того, чтоб унести во мрак.

1995

## KARTAGINOJE PO DAUGELIO METŲ

Josifui Brodskiui

Ekvinokcijos ruožas. Daiktai nevisai  
išsitenka laike.  
Bergždžios ūkanos keičia jų mastą. Balsai  
tuoj nugrims po sprangia  
liūtimi. Tuštuma raibuliuoja plienu,  
plūsdama iš rytų  
darganoton spragon tarp juodųjų dienų  
ir baltųjų naktų.

Dar apsinkina pojūčius kovo pradžia,  
dar tamsuoja sode  
luošas Hermis, pusiau prisidengęs šiurkščia  
lentine visata,  
dar ne sykį iš svetimo posmo atskris,  
iš miglos atskardens  
margasparnių sužvarbusių ančių būrys  
ant šarmoto vandens.

Tas pusiausvyros taškas, apniukęs dangus,  
kur išlikom tik mes,  
kur palatos ir gultai nuplukdė draugus  
į kitokias gelmes.  
Vėjas kimba skutais prie drėgnų marškinių,  
ir po skliauto ledu  
iš gramatikos nuotrupų ir gurinių  
atsiliepia aidu

## **В КАРФАГЕНЕ МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ**

Иосифу Бродскому

Время мельче предметов. Стоит полоса  
Равноденствия. Смог  
Искажает размеры. Сейчас голоса  
Смоет ливнем. Поток  
Стиснет горло. С востока стена пустоты  
С переливом стальным  
Прёт в зазор морозящий — от дней черноты  
До ночей белизны.

Март в начале, и чувства ещё тяготит  
Сад под сводом небес,  
Где темнеет, дощатой вселенной прикрыт,  
Колченогий Гермес;  
И ещё из чужого стиха, где блестит  
Прорубь трепетом крыл,  
Пёстрых уток озябшая стая взлетит  
С индевелых чернил.

Равновесие. Точка, где выжить лишь нам  
Довелось — остальных  
Сквозь палаты и нары несло по волнам  
На глубинах иных.  
Ветер ключьями липнет к рубашке. С высот  
Небосвод ледяной  
Из обломков глагольных времён донесёт  
Эхом только одно

tik būtasis kartinis. Šiam miestui gana  
praeities. Vientisa  
jo grandinių skaistybė, jo tiltų darna,  
jo tramvajų šviesa,  
neužgęstančios karcerių lempos, kiemai,  
debesin atgręžti —  
trumpaamžė šalis, kur tiek kartų gimei  
ir kurion negrįžti.

Ties krantinėm, kur mokėmės tart „niekada“,  
kur nesiekia strėlė,  
kaip žadėjo Katonas, trūnija skalda  
ir prabyla žolė.  
Viršum griuvenų oras padvelkia drigne,  
atšiaurus ir ramus,  
kad graužikas įdužusio ryko dugne  
susirastų namus.

Netikėjau, kad visa tai baigsis. Ne čia  
ištesės taikynys.  
Tai, kas buvo sėkmė, tai, kas buvo kančia,  
lygiai tirpdo ugnis.  
Vien tik pauzę ir properšą smegens pagaus  
ir vyzdys atžymės —  
ypač temstant, kada neatskirsi dangaus  
nuo durpyno dėmės.

Nieko kito. Vijoklių standi tankuma,  
kovo šalčio pilna,  
susvyruoja už rėmų, stiklus plakdama,  
kad išsektų diena,  
kad po mūsų, lyg mūsų betikslė tąsa,  
atsikvėptų laisvai  
negatyvų baltumas, eilučių tamsa —  
mus įveikę dievai.

Однократно прошедшее. Город теперь  
 Полон прошлым. И то,  
 Как едины в нём стройная ясность цепей,  
 Устремлённость мостов,  
 Свет трамваев и карцеров лампы, бетон,  
 Двор и облако над —  
 Та страна, где ты был многократно рождён,  
 Но не рвёшься назад.

У гранита, где мы «никогда» — закавычь —  
 Обучались впервой,  
 По реченью Катона крошится кирпич,  
 Речь восходит травой.  
 Чёрствый воздух руин отдаёт беленой  
 И пригоден с трудом  
 Для того чтобы мышь в черепках под стеной  
 Обустроила дом.

Я не верил, что всё это кончится. Но  
 Вот мишень на стене.  
 То, что было удачей и мукой — равно  
 Исчезает в огне.  
 Лишь просвет, лишь цезура в мозгу зазвучит,  
 Лишь зрачки не вольны́  
 В полумраке, где неба нельзя отличить  
 От болот торфяных.

Больше нет ничего. Жёсткий плющ, заодно  
 С этой стужей, слегка  
 Извиваясь за рамой, скребётся в окно,  
 Чтобы день иссякал,  
 Чтобы, нас продолжая с упорством тоски,  
 Снова стали вольны́  
 Боги, нас превозмогшие — темень строки,  
 Негатив белизны.

\* \* \*

Viduržiemio kvintos ir septimos. Kas užrašys  
tą Viešpaties gausmą, kurį prieš sekundę girdėjai?  
Jo tolis pranoksta vaizduotę. Nutrūksta ryšys,  
nevirpa membranos, ir laiškas pargrįžta siuntėjui.

Dar plakas ankštam židiny aiškiaregė liepsna,  
dar užtveria sąsiaurį tiltų skurdi amžinatvė,  
bet sielai, — o ji su kaupu nebuvimo pilna, —  
kaip kriauklei ar akmeniui, formą jau teikia vienatvė.

Toks būsi Teisme, atsibudęs iš laiko srovės.  
Į šalį, didesnę už mūsų šalį, teišlydi  
aklumas ir baimė, kažkiek išminties ir šlovės  
ir blėstantis pulsas, vis vien pavaldus aonidei.

Pro žvirgždo krūvas kas pavasarį skverbias mirtis,  
ir smurtas, paneigdamas protą, putoja ekranuos  
ir laikraščių skiltyse, ir pasunkėjus širdis  
sutampa su aplinka. Tai ir vadinasi menas.

Į Letą įžengiama dukart. Juoduoja kėdė  
ir ilsisi pirštai, į ženklus pasaulį pavertę  
(*naktis vandenynas plaštakė sudievu žvaigždė*),  
kad liktų bent siūlas. Kad būtų į ką įsitverti.

\* \* \*

Январские квинты и септимы. Как сохранить  
Сей гул, что ты слышал секунду назад? (Вероятно,  
Господень.) С немыслимой далью оборвана нить.  
Мембрана не вздрогнет. Письмо возвратится обратно.

Трещит ясновиденья пламя в камине твоём,  
а утлая вечность мостов претендует на норму.  
Душе, что сверх меры наполнена небытием,  
как раковине, придает одиночество форму.

Таким ты предстанешь на Суд, от потока времён  
очнувшись. И там да пребудут с тобой неразлучны —  
как некий Вергилий — и слава, и мудрость, и стон,  
и гаснущий пульс, до конца аонидам созвучный.

Сквозь гравия груды весной пробивается смерть,  
в TV и газетах насилие пенится густо,  
и отяжелевшее сердце, вобрав эту смесь,  
сливается с временем. Это зовётся искусством.

Но в Лету вступают и дважды. Покой недалёк.  
Мир выразив знаками, пальцы сумели разжаться.  
И снова: *свет шёпот прощай океан мотылёк* —  
чтоб нить не прервалась. Чтоб было за что удержаться.

1996



## DVILYPĖ NUOTRAUKA

Neilgam sukausčius marias, atgailauja pūga,  
vakarykštis žiemys išsikvojo kaukiantį narsą,  
nematoma blyksi žuvis po ledo dangą,  
ir tyla pusnynuose sklinda greičiau už garsą.  
Atminties nestabdomas laikas bėga bėgte  
pro spragas tarp spyglių. Taip vandens nelaiko įtrūkęs  
gryno molio ašotis, taip mēlis retėja skliaute,  
taip rodyklę varpinės bokšte nusveria rūkas,  
kuriame negali atriboti skruosto nuo sniego, žmogaus  
nuo pušies. Taip delnas, nei delta, atodrėkį semia,  
taip vasario mazgojamas žvilgsnis, neliesdamas tuščio dangaus,  
pasitenkina tuštuma žemėj.

## ДВОЙНОЙ СНИМОК

Ненадолго сковавшая море, раскаивается метель,  
вчерашний Борей утратил удаль (вперёд наука!),  
сокрытые льдом, незримы проблески рыбьих тел,  
скорость тишины в сугробах больше скорости звука.  
Время, не останавливаемое памятью, течёт  
сквозь просветы меж иглами. Вода незаметно тает  
сквозь трещину в глине кувшина, так блекнет небесный свод,  
так стрелку на колокольне клонит тумана тяжесть,  
где слиты снег со щекою, тело и тёмный лес.  
Так дланью черпают оттепель — лучше чем дельтой иною,  
так взгляд в феврале, не касаясь пустых небес,  
довольствуется пустотой земною.

1996

## ARBATINĖ SETTLEMENTE. VARIACIJA

Ant medinio suolo tarp vilkdalgių, niekur, sode,  
kur šakos šešėlis užkliudo puodelio šešėlį,  
dalinuosi su mirusiais oru, verandos kerte  
ir žvelgiu, kaip jie, į patvinusį priterštą mėlį,

tokį pat kaip kadais. Nebent kiek daugiau atliekų  
prisirinko pakrantėj, ir baržų gausiau negu džonkų.  
Savo įprastą vietą kiekvienas randa laiku,  
nuobodžiauja, keikia likimą, lošia madžonga,

apsišaudo replikom: „Šiandien vėsiau“, „Atsitrauk“,  
„Paketbotas vėluoja“, „Nejau čia lindėsiu, kol gyvas?“  
Aš jiems irgi šešėlis. Neaišku (skirtybių nedaug),  
kas iš mūsų yra negatyvas, kas pozityvas,

kas tikrovė, kas atspindys, kas *perfectum*, o kas  
beišnykstantis *praesens*. Taip jūroje tirpsta žemynas.  
Lyg spiritai, ant nesančio stalo suglaudę rankas,  
jie vėl abejoja: gal visa tai jiems tik vaidinas —

kanalas, paparčiai, žužubai, žodis „tikrai“  
ir žodis „turbūt“, ir Arbatinė, kur susirasim  
vienas kitą, kai šimtmečiai išsisklaidys kaip garai,  
ir bemiegė liepsna sulydys kūną ir dvasią.

## ЧАЙНАЯ В СЕТТЛЬМЕНТЕ. ВАРИАЦИЯ

На скамье деревянной между ирисами, в саду,  
в том нигде, где тень чашки тревожат тени ветвей торопливо,  
я делю с мертвецами воздух и разговор веду  
на веранде; гляжу, как они, на замусоренность разлива

синевы, столь же синей, что в оны дни. Разве что окрест  
накопилось отбросов на отмели. Барж стало больше, чем джонок.  
Каждый вовремя занимает излюбленный свой насест,  
чтоб скучать, проклинать судьбу и играть в маджонг, отрешённо

перебрасываться репликами: «Нынче что-то прохладней». «Брось».  
«Пакетбот, как всегда, опаздывает». «Неужто я здесь и сдохну?»  
Я для них — тоже тень. И неясно (есть ли разница — вот вопрос)  
кто из нас негатив, а кому позитивом считаться должно,

кто действительность, кто отражение, кто здесь perfectum, кто  
исчезающий praesens. Так материк погружается в море.  
Как спириты, кладя ладони на несуществующий стол,  
они вновь сомневаются: может, всё это всего лишь мóрок —

папоротники, канал, жўжубы\*, слово «наверняка»  
и «вероятно», некая Чайная, где наши тени  
встретят друг друга, когда развеются пáром века  
и бессонное пламя сплавит воедино душу и тело.

1996

\* Жўжубы — характерные китайские деревья.

## INSTITUTO PARKE

Tokių statulų mieste beliko tik dvi. Jos dunkso tarp tujų, viena priešais kitą. Lašas į lašą sutampa kitelių sagos, skruostų papločiai. Valstybė stipri, kai chaosą vienodina matas ir saikas, ką žino studentai,

kurie pavėsyje kala klasikus ir integralų vingiaraštį. Trupantis gipsas, bet jį kai kada užlopo. Proto dantys parko burnoj, prie asfalto lūpų. Juos ardo lietus, prasisunkęs pro plyšį. Paminklai neišvengia nei éduonies,

nei šaknų pūliavimo. Rudenį jų šešėly paranku atitraukti akis nuo puslapio, maštant apie šį bei tą: padavėjos sijoną valgykloj, vakarykštį gurkšnį degtinės, tamsų hutoną, o kartais apie visa, kas plyti

šiapus Sienos. Belaikės vinjetės: palinkęs senukas su trąšų krepšiais; buivolai tvenkiny; ant lotoso lapų nefrito rasa; moteriškės kuždas prie slenksčio apie tai, kad vaikams neverta likti šioj molio padangėj ir dera

## В ИНСТИТУТСКОМ ПАРКЕ

Две последние статуи в городе. Друг против друга  
здесь торчат между туями. Словно две капли воды,  
различить невозможно ряды пуговиц кителя или лепёшки щек.  
Государство сильно, когда хаос карнается весом и мерой —  
это знают студенты,

что зубрят под деревьями классиков, или же хитрую вязь  
интегралов. Крошащийся гипс — в редких свежих заплатах.  
Зубы мудрости в парковом зеве — обок асфальтовых губ.  
Их дождём разрушает, сочащимся в трещину. Памятники  
не свободны от кариеса,

от нагноенья корней. Осенью в их тени  
хорошо, отрывая глаза от страницы, подумать  
о безделицах: о подавальщице юбке в столовой,  
о вчерашней порции водки, о тёмном хутуне\*, порой —  
обо всём, что укрылось

здесь, за Стеной. Вневременные виньетки: сутулый  
старик с корзинами удобрений; буйвол в пруду;  
нефритовая роса на листьях лотоса; шепот женщин  
у порога, что в этом глиняном поднебесье  
детям явно не место, пора

\* Переулок.

išsikelti (mokesčiai, vietos viršaitis, pernykštis nederlius).  
Stotyse nomadų stovyklos, kurių nepajégia sklaidyti  
tvarkdariai — galimas daiktas, kilę iš gretimo kaimo.  
Kaligrafijos meistras ankštam kambary sapnuoja, kaip andai  
jį mušė moksleiviai —

dauguma jų stengėsi pliekti neskaudžiai, bet vykdė  
paliepiamą. Dulkėto cemento krūvos nutįsta,  
kur nesiekia rega ir už sąsiaurio kyla stikliniai  
bokštai, panašūs į kurklį, laumžirgį, žiogą,  
dėl visa ko apsimetę

negyvais (nežinia, ar batas aplenks, ar sutriuškins).  
Arba kitas kraštovaizdis: rusvas, pasidabruotas  
aukštikalnių oras, prakiurdyta kaukolė krūmuos.  
To, kuriam jį priklausė, nėra budistiniam rojui,  
iš viso nėra ir nebuvo;

maldų malūnėliai, rožančiai, netekę galios, pavirsta  
preke, kaip dėžutės iš jako kaulo; be laisvės  
žmogus dar gali gyventi: negali be miežių košės,  
trumpo miego, skatiko kišenėj. Be laisvės sunkoka tik mirti,  
nors daugelis mirė.

Paminklai sensta ir skeldi. Nuvargo portretas,  
panaujinamas kasmet, įdėmiai sužiuręs į kurtų  
ir nebylų kvadratą — šalies gravitacijos centrą.  
Praraja išdalyta kvadratais. Vanduo čiurlendamas plauna  
muzikos nuolaužas, tylą,

tai, kas liko iš kraujo. Už šimto ar pusšimčio metrų  
stovėjo beginklis vyras, trumpam prijaukinęs  
artėjantį tanką. Jisai kažkur tebėra, nesugautas,  
nežinąs, kad jo nesuvokiamas mostas atėmė amą pasauliui.  
Iš teisybės, tai jam ir nerūpi.

уезжать (налоги, начальники, прошлогодний неурожай).  
 На вокзалах становья кочевников, с ними не сладят  
 даже стражи порядка — чай, родом из той же соседней деревни.  
 Каллиграфу в каморке всё снится, как был он во время оно  
 избиваем учениками:

большинство не усердствовало, лишь исполняя приказ.  
 Клубы пыли цементной тянутся в даль, что взгляду  
 не достичь, за проливом встают стеклянные башни  
 наподобье медведки, кузнечика и стрекозы, что  
 прикинулись мёртвыми — просто

на всякий случай (неизвестно, минует сапог, иль раздавит).  
 Вот другой ландшафт: рыжеватый, посеребрённый  
 высокогорный воздух, продырявленный череп в кустах.  
 Обладатель навряд ли в буддийском раю; его нет вообще,  
 да и не было; силы лишившись,

чётки и молитвенные мельницы превратились в товар,  
 как шкатулки из кости яка; без свободы живут —  
 невозможно жить без ячневой каши, без короткого сна,  
 без гроша. Без свободы лишь смерть трудновата —  
 впрочем, многие умерли и без неё.

Памятники трескаются и стареют. Усталый портрет,  
 подновляемый ежегодно, взирает внимательно на  
 глухонемой квадрат — гравитационный центр страны.  
 Пропась поделена на квадраты. Вода, журча,  
 смывает обломки музыки, тишину,

то, что осталось от крови. В полусотне метров стоял  
 безоружный, смиривший на время близящийся танк.  
 Он, не пойманный, где-то живёт и не знает,  
 что немислимым жестом заставил весь мир содрогнуться.  
 Впрочем, это ему и не важно.



## TURBŪT PAKELIUI Į CHENGDU

Hongkongo turguj pirktas žadintuvas  
sučirškia prieš septintą. Jo dyglis  
įbrėžia sąmonėj žodžius „Į stotį“.  
Jau dvi savaitės už langų šalis,  
kurioj vis viena tarsiesi nebuvęs.  
Stogų kreives pridengę, rungtyniauja  
kvadratai — vado atvaizdas ir „...boro“.  
(Kas nugalės, neaišku.) Paišinių  
bambukų terpe ritasi šlakuoti  
nuo purvo dviračiai. Prospekto saujoj  
skarda, kartonas, folija. Besielis  
kraštovaizdis iš būsimų sapnų,  
kai veidą sunkins juodžemis ir smėlis,  
ir bronchai nepajėgs įkvėpti oro.

Minia, kurios pabūgtų Čingischanas.  
Tik traukinį apkurtina tyła.  
Dangoraižius ir pribaigtą šventovę  
netrukus pavaduos laukų migla,  
į kanalus įbridęs gaolianas  
ir gluosniai — tai, kas atlaikys kiekvieną  
dinastiją. Širdis praleidžia kirtį.  
*Kai dangūs nusigręžia nuo šalies,  
jai lieka tik prekyba, smulkūs doviai  
nemokytoms gentims. Aptriušo Siena,*

## ВЕРОЯТНО, НА ПУТИ В ЧЭНДУ

Будильника с гонконгской барахолки  
треск ровно в пять. Его игла должна  
«К вокзалу» проскрести команду мозгу.  
Недели две, как за окном страна,  
которой, почитай, не видел толком.  
Прикрыл кривые крыши спор бредовых  
квадратов: лик Вождя, «...lboro» реклама  
(исход неясен). Вязкая среда  
бамбука, где, покрыты грязью мокрой,  
велосипеды катят. На ладони  
проспекта — жесь, картон, фольга. Бездушный  
слепой пейзаж грядущих снов, когда  
лицо песок и чернозём удушат  
и бронхи воздух не вберут упрямо.

Толпа, что устрашит и Чингисхана.  
Лишь поезд тишиною оглушит.  
Но небоскрёбам, сгинувшему храму  
прийти на смену мгла полей спешит,  
каналы, заросль ив и гаоляна —  
способные поднесь терпеть на склонах  
династию. Лишь сердце ухнет разом.  
*Стране, лишенной милости небес,  
к лицу торговля, неучу и хаму  
подачки. Рухнула Стена. В вагонах*

*vagonas pilnas barbarų, dievybė  
pradingo (jeigu buvo). Iš dalies  
todėl ir dera rinktis būtinybę –  
vienodą rūpestį, skirtingą mirtį –*

*ir tai vadinti lemtimi, bet klysti.  
Čia tikty kitas žodis, ne „lemtis“,  
tik jam nėra hieroglifo. Iš skausmo  
vos retkarčiais užgimsta išmintis,  
dažniau pasidavimas, veidmainystė,  
kartus gudravimas. Esi šį rytą  
beraštis barbaras. Vargu ar grįši  
kraštan, kurį kas mirksnis prarandi,  
o jis, tave prarasdamas, neklauso,  
kur danginies. Aplinkui tvyro Kita.  
Dirva, pritvinkus tūkstantmetės baimės  
ir kaulų. Visata, kur supranti,  
jog amžinybė neparūpins laimės,  
bet neatleis nuo gailesčio ir ryšio.*

*лишь варвары, а божество (иль мнимость  
его) — исчезло. Чтоб избегнуть бездн,  
нам надлежит избрать необходимость,  
при равенстве заботы — смерти разность;*

*и звать «судьбой». Хоть этому лекарству  
нет слова — иероглиф не вместит  
подобный смысл. Из боли редко слишком  
родится мудрость, чаще — горький стыд  
уступок, хитроумие, лукавство,  
и лицемерье. В утро таковое  
ты — варвар здесь. Навряд ли, разве чудом,  
вернёшься в край, где больше не найдёшь  
потерянных секунд, что, не расслышав,  
тебя теряют. Всё Кругом — Иное.  
Земля костей, тысячелетий страха.  
Вселенная, где ты осознаёшь,  
что вечность не приносит счастья: страждет,  
но и от состраданья не врачует.*

1996

## PLATEAU

Jako vilnos dilina žvyrą.  
Peilis atveria mėlyną mėsą.  
Sulaukėjusi plynaukštė svyra  
ten, kur brėkšma nevirsta į šviesą.

Negyvenami skliautai srovena  
virš praradusios tikslą celės.  
Vienuolyno skeletui nirvaną  
pavadoja akmuo ir smėlis.

Debesiai tarsi freskos šukėti,  
net ir uolos atrodo netvarios,  
ir beveik gali patikėti,  
kad pasibaigė karas.

## ПЛАТО

Шерсть яка на щебне голом.  
Нож синее мясо режет.  
Дикий уклон плоскогорья  
к заре, что светом не брезжит.

Пустой небосвод проникает  
в келью без цели и света.  
Нирвана песка и камня  
для монастыря-скелета.

Облака фреска изъязвлена,  
скалы — и те непрочны;  
можно поверить явственно  
что это — конец войны.

1996

## IN MEMORIAM HENKUS HAPENČKUS

Pranui Morkui

Neverta sveikintis. Rodos, tik tas, ko nebuvo, īstengia pakelti nesimo svorj. Nēra vienodesnio daikto uż jo vienatvę. Motorai, kvapo pristigę, spengia tarp apygardos teismo ir įkalnēn kopiančjū laiptų, priešais kapus, kur noksta gelsvi nuodingi vēdrynai ir neįmanomų datų vengia akmuo ir metalas. Ką gi, vēl susitikom po siauro prospekto liepom. Tai, kas esi ir būsi, tēra nebrangios lentelēs išlankstytas paviršius, raidēs kaitrioj vitrinoj, balsjū irriebalsjū pluoštas iš tuštumos vardyno, net ne skaistus šešēlis, atspindējēs Letoj,

net ne kontūras, mirgās giliai po vandens paviršium šulny, kur Grjžulo ratų žvaigždēs liejas į viena. To, kuris negyveno, miestas net neužmiršo. Pražiūrētas visatos, prastumsi ir šitą dieną. Daug svetimesnis praeivio regai nekaip Odisējas, Nojus, Peteris Panas, Hamletas, Pūkuotukas, vos išsitekēs plote, kur senstanti sąmonē vingiais seka asfalto vingius, lyg oro spraga pašviesējēs, tu sutampi su bet kuo. Tave įsiurbia nublukęs sausas prieškario tinkas, bevaisis vasaros rūkas, nesutirštējēs erdvēj, tą pat akimirkā dingēs.

## ПАМЯТИ ХЕНКУСА ХАПЕНЧКУСА\*

Пранасу Моркусу

Не стоит здороваться с тем, кого не было. Он лишь и в силах  
 Вынести вес пустоты. Нет ничего бестелесней  
 Его одиночества. Пара моторов надрывных и сиплых  
 Ревут перед зданием суда у подножия каменных лестниц  
 Напротив кладбища, где лютики, полные желтого яда,  
 Где камень с металлом бессмысленных дат избегают.  
 Мы встретились снова на узком проспекте под липами. Лепта  
 Твоя, все, что есть ты, все, чем ты будешь — лишь недорогая  
 Табличка в витрине, знак пустоты, состоящий из ряда  
 Согласных и гласных, связанных вместе почти нелегально,  
 Даже не тень, что в себе отражает бесстрастная Лета,

Даже не контур, мерцающий в горле колодца, где тонут  
 Звезды Большого Ковша, сливаясь в одну. Город даже  
 И позабыть не пытался того, кто не жил. Отторгнут  
 Вселенной, ты как-то протянешь сегодня, и завтра, и дальше.  
 Чуждый случайному взгляду прохожего больше, чем Гамлет,  
 Ной, Одиссей, Винни Пух, Покахонтас, Сенека,  
 Ты, едва примостившись в пространстве, где, петляя, рассудок  
 Наблюдает извивы асфальта, пробел, разряженье молекул,  
 Совпадая со всем, что ни есть, ты присутствуешь всюду,  
 В довоенной ли блеклой сухой штукатурке, в тумане ли блеклом,  
 Что бесследно растаял, исчез, не сумев сконденсировать капли.

\* *Примечание автора:* В витрине каунасского бюро похоронных принадлежностей многие годы лежала табличка с невозможным на литовском — и любом другом — языке именем «Хенкус Хапенчкус», а также с абсурдными датами рождения и смерти. Требовалось, чтобы сведения на рекламном издании не совпали ни с одним реальным лицом.



Šiapus širdperšos upės, toliau už viltį ir gėlą,  
aklas tavajai kalbai (kaip tu — mano žemiškai kalbai),  
bandau — trečiaeilis Dievas — į raidę įpūsti sielą,  
apytikriai nužymėtą provincijos meistro kalnu,  
įsivaizduoti šalį, kurioj viešpatauja stygius,  
beveidę tau patikėtą vietovę. Jos panoramos  
nepasiduoda plunksnai, temperai nei sangvinui —  
ten visos lemtys panašios, kiekvienas atpildas lygus,  
pavirsta pėdsaku šlaitas, mažiau nei pėdsaku namas,  
bet gal išsilaiko matmens. Gramas — ten irgi gramas,  
metras prilygsta metrui, laipsniai taip pat svaigina.

Jeigu ten lieka tautos — penktadaliu prūsas ar lenkas,  
per amžių amžius įšalęs į blankų lentelės ledą,  
neaplankytas Dantės, anapus gyvuoja Henkus,  
dvasia priklausantis niekui ir tik fonetika — Hadui,  
šoferis, agentėlis, neatmenu kas, žurnalistas.  
Kiek suglamžytų suknių, spermos pilnų paklodžių,  
kiek bespalvių bokalų ties nesančios smuklės langu,  
spyrių, smūgių į veidą, keiksmų, bereikšmės jaunystės,  
pusalkanių rugpjūčių ir kaulus geliančių gruodžių  
telpa į standžią skardą! Ir viskas pasaulyje — žodžiai,  
ir vakaro kregždės lopo prairusį Kauno dangų.

Šviesa, praradusi spektrą, motyvas, netekęs tonų,  
jis klaidžioja pokalbio slėniuose, negeisdamas virsti į temą.  
Tik mums dar aidi trimitas, tik mums dar švyti geltona  
žibinto liepsna pro painią liepos šakų sistemą.  
Jų protarpiuos matom tuščią kvartalą, dusyk tuštesnį,  
nes Henkus ten stoviniuoja, nesivaržydamas laisto  
nebeįžiūrimą kertę, spraudžias į autobusą,  
negimęs ir neišnykęs, patyręs nelygstamą laisvę,  
kurion — bijok nebijojęs — vis vien priderės įprasti,  
nors mes dar pavaldūs laikui, nors mes dar bandomė tęsti  
lemtį, kurios nebuvo. Jis buvo vienas iš mūsų.

Дальше надежд и отчаянья, с моей стороны от потока,  
 Глухой к твоему языку, как и ты глух к земной моей речи,  
 Невесть какой бог, я пытаюсь дух вдохнуть в эти буквы, что только  
 Вчерне долотом обозначил безвестный ремесленник-резчик,  
 Представить страну, где правит отсутствие, увидеть аллеи  
 Той, что досталась тебе, безликой местности. Гамму  
 Ее панорам ни перо не берет, ни гуашь, ни сангина,  
 Там все судьбы подобны, там карма рождает такую же карму,  
 Там гранит размягчается в глину, там алмаз еще мягче, чем глина,  
 Но, быть может, такие же меры — грамм равняется грамму,  
 Метр есть метр, и от градусов, верно, там тоже хмелеют.

Если есть там народы, — на пятую немец, поляк ли, когда-то  
 В мутный лед жестяной заморожен, залит, захоронен,  
 Здесь покоится Хенкус, никогда не встречавшийся с Дантом,  
 Он сродни существом — ничему, и фонетикой только — Харону,  
 Журналист, ктонепомню, стукач, продавец детских кукол.  
 Сколько пахнущих спермой простынь, женских платьев измятых,  
 Сколько рюмок в шалмане, дверей никогда не открывшем,  
 Получений по морде, пинков, беспорядочной юности, мата,  
 Голодных, дождливых июлей, декабррей под холодную крышей  
 Помещаются в жезь! Все, что есть — лишь слова, лишь гримасы  
грамматик,  
 И латают, латают стрижи вновь протекший над Каунасом купол.

Свет, утративший спектр, мотив, не знакомый с тонами,  
 Он блуждает в долинах беседы, не желая оформиться в тему.  
 Лишь для нас все играет труба, лишь для нас еще желтое пламя  
 Фонаря пробивается, мелко дробясь, сквозь живую систему  
 Веток липы. В просветах мы видим кварталы, где примесь  
 Пустоты к пустоте добавляет Хапенчкус, сокрытый от взора,  
 Поливает подъезд, никого не стесняясь, двери толкает,  
 Не рожденный, не умерший, испытывавший такую свободу, к которой  
 Страшно — нет — все равно привыкать нам. Хотя что покамест  
 Мы подвластны диктату часов, мы стремимся вперед коридором,  
 Тем, что станет судьбой. Той, что не было. Он был одним из.

## **GOBELENAS**

Už upės ir akmens, už kontraforsų aibės  
Gyvena audinys, tarytum lėtas žaibas —

Mergelė ir žvėris, lelijos ir ežia  
Ir veidrodžio erdvė heraldiniam darže.

Jie protą atgaivins ir sopulį pagirdys,  
Kai grūdą trupina negailestingos girknos,

Sukepusi burna kartoja „negaliu“  
Ir kraujas sukreši ant užtvaros dyglių.

Tu daug matei. Priimk ir sodą, ir erškėtį.  
Tu sumokėsi tai, ką dera sumokėti,

Kad, virtus vakaru, patvirtintų diena,  
Jog negandų šimtai, bet muzika — viena.

## ГОБЕЛЕН

За камнем и рекой, за контрфорсов стадом —  
Ткань, равная небес медлительным разрядам:

Зверь, дева, лилии, межа — и между них  
Блится воздух — геральдический цветник.

Ей — разум оживить, утишить боли жженье,  
Когда зерно дробит бесповоротный жернов,

Когда под «не могу» запекшегося рта  
Чернеет на шипах ограды кровь, густа.

Ты много повидал. Прими сей сад, терновник,  
И расплатись сполна — тебе платить не внове —

Чтоб, превращаясь в ночь, день подтвердил сполна,  
Что тысячи невзгод, но музыка — одна.

1997

## SKIRIAMA KŪDIKIUI

Likimas primena tiktai likimą,  
Mirtis — tik mirtį. Vaiko patirtis  
Kitoniška, turbūt ir paprastesnė:  
Jis bręsta, atkartodamas Genezę.  
Lopšy, tarsi Betliejaus oloje,  
Pajunta šviesą, o netrukus tamsą,  
Įpranta skirti skliautą nuo gelmės,  
Žemyno briauną nuo beribės jūros  
(Sutampančios su motina). Vėliau  
Pažįsta žolę, saulę ir mėnulį,  
Upėtakio vaivorykštę ir varnų  
Kariuomenes, klajojančias padangėj,  
Užsikertančiais pojūčiais jaukina  
Vidurdienio kaštonų kolonas,  
Šalteksnj, sniegą, juodalksnj, motorą,  
Apsisapnavusį naminį vilką  
Ir vilką girioje, kuris tėra  
Neaiški baimė. Taip artėja žodis,  
Ir sąmonė suauga su žodžiu,  
Aukštoj erdvėj kartojančiu „tebūnie“,  
Įterpdama save į keistą prasmę,  
Staiga įtarus, jog tamsa — mes patys,  
Tačiau virš mūsų esama šviesos.

## НА РОЖДЕНИЕ МЛАДЕНЦА

Судьба напоминает лишь судьбу,  
 Смерть — только смерть. Младенческий же опыт  
 Иной — и он, пожалуй, много проще:  
 Он зреет, вторя Книге Бытия.  
 Он в колыбели, словно в вифлеемской  
 Пещере чует свет, а после — тьму;  
 Он как-то привыкает отличать  
 Свод от глубин и материк от моря  
 (Рифмуемого с матерью). Позднее  
 Он познаёт траву и солнце, месяц,  
 Форелей радугу и армии ворон,  
 По поднебесью шляющихся; все  
 Пять чувств, чуть запинаясь, приручают  
 Каштанов озарённые колонны,  
 Крушину и снегá, ольху, мотор,  
 И волка полусонного в дому́,  
 И волка там, в лесу — что есть лишь страх  
 Неясный. Тут и возникает слово.  
 Сознание срастается со словом,  
 В пространстве выси вторящим «да будет».  
 Оно в себя включает странный смысл,  
 Уразумев внезапно: тьма — мы сами,  
 Однако выше существует свет.

Nuo tol jo giminystė su pasauliu  
Stipresnė, nei su tais, kas jį pradėjo.  
Slapta gija jį sieja su mezonais,  
Anglim ir deimantu, Amazone,  
Merkurijum, arkangelu, Birnamo  
Žiauriu mišku ir Kerinės stirna.  
Daiktai prie jo palinksta, o kiti  
Pakyla ligi jo. Skardžioj dykynėj  
Tarp prarastojo rojaus ir trimito  
Jis atsibunda, sklidinas visatos,  
Drauge ir smėlio laikrodīs, ir smėlis,  
Kaip sakė George'as Herbertas. Ir jam  
Dažnai vaidenas, kad jisai prie slenksčio,  
Kur kertas linijos, sutampa gaidos  
Ir, rodosi, būtis pasiekia tikslą.  
O mes, anksčiau patyrę tą Genezę,  
Tegalim atsiliepti mirtimi.

Mes vyresni už jį, ir mes jau žinom,  
Kad gaidos dyla, linijos nutrūksta,  
Kad oro ertmės neišsaugo garso  
Ir popieriuje sutrupa rašmuo.  
Tik retkarčiais, per klaidą susitinkam  
Akloj vilty, užuojautoje daiktui,  
Atmintyje. Ji bando pavaduoti  
Nemirtingumą, bet nevisuomet  
Įstengia. Padėkokim ir už tai.  
Ką besakysi, ji suteikia jėgą,  
Kai leidžiamės į slėnį, apsupti  
Nakties, apie kurią geriau tylėti,  
Nes dar nežinom, ar plevena Dievas  
Virš jos tuščių beveidžių vandenų.

Теперь родство ребёнка с этим миром  
 Прочней, чем с теми, кем он был зачат.  
 Он тайной нитью связан с Амазонкой,  
 С мезонами, с алмазом и углём,  
 С Меркурием, с архангелом, с Бирнамским  
 Жестоким лесом, с Керинейской ланью.  
 К нему предметы клонятся, другие  
 Растут к нему. На звучном пустыре  
 Меж Раем канувшим и трубным Гласом  
 Он просыпается, вселенной полн —  
 Часам песочным равный и песку,  
 По слову Джорджа Херберта. Ему  
 Мерещится, что он пришёл к порогу  
 Скрещенья линий, совпаденья нот;  
 И, мнится, бытие достигло цели.  
 Мы, эту Книгу ранее прочтя, —  
 Мы только смертью можем откликаться.

Мы старше — нам давно известно, что  
 Сотрутся ноты, линии прервутся,  
 Что самый воздух звука не хранит  
 И знаки истлевают на бумаге.  
 Лишь изредка, лишь по ошибке мы  
 Встречаемся — в сочувствии к вещам,  
 В слепой надежде, в памяти. Она  
 Всё тщится заменить бессмертье — но не  
 Всегда успешно. И на том спасибо.  
 Что говорить, она даёт нам силы  
 На долгий спуск в долину, в окруженьи  
 Ночи, о коей лучше умолчать,  
 Не ведая, и правда ль Божий Лик  
 Над зеркалом её безвидных вод.

1997



## ARIELIUI

Grimztu į staigų girios debesį.  
Tarytum laiko pradžioje,  
Mane įveikia padūmavusi  
Aštrios žolės karalija,

Ir ten, kur saulė stabdo proskyną,  
Žėruojančiuose spygliuose,  
Tu tebesi — tarnavus Prosperui  
Sparnuota muzikos dvasia.

Tu klaidini, juokauji, ryškini,  
Kas beprasmybė, kas — vertė.  
Kaip niekas, tu žinai, kad išmintį  
Apmoka gniuždanti kaltė.

Jos neįmanoma sumažinti.  
Suskaldyk kūno grandines,  
Palaimink atmintį ir pražūtį,  
Tačiau nesigailėk manęs.

## К АРИЭЛЮ

Тону в лесном отвесном мареве.  
Одолевают, словно сон,  
Владенья царственной, дымящейся  
Травы — как на заре времён.

И там, где прорезь солнца, — нехотя  
Приоткрывает мне черты  
Дух музыки крылатый, некогда  
Служивший у Просперо. Ты,

Шутя, бессмыслицею мучиться  
Заставишь — пусть ей грош цена.  
Ты знаешь как никто, что в мудрости  
Сокрыта страшная вина.

Её не заглушить раскаяньем.  
Благослови же память, слух,  
Оковы тела мне раскалывай,  
Но не щади меня, мой дух!

1997

## TRISTIA

Apyaušry vėjas ledėja,  
Baziliką slegia šalna.  
Po delnu palinksta į šalį  
Vėjuojanti žvakės liepsna.  
Išvargus rega nebespėja  
Patirti, kaip sostinė skrieja  
Tamsion — bet apčiuopia ranka  
Bevaisės uolos vertikalę  
Ties ošiančio Stikso vaga.

Kas nešėsi *omnia sua*  
Standžiam ryšuly ant pečių,  
Tam lengva akiduobėm sekti  
Keliolika Ponto žvaigždžių.  
Verpėja, nutraukusi siūlą,  
Užmiršta paklydėlį sūnų,  
Tačiau nuo laukinių krantų  
Euterpė, skardendama naktį,  
Uraniją šaukia vardu.

Kas žino, kur tėviškės duona,  
Kur sausas tremties davinys?  
Kamenos pagarbina skalsą  
Net šičia, kur stingsta vilnis,  
Kur siaubo ir atpildo zonoj

## TRISTIA

В базилику с рассветом влетает  
 Ветер, тяжестью схожий со льдом.  
 Накренённое позднее пламя  
 Свеч едва защищает ладонь.  
 Глаз замыленный не успевает  
 Ощутить, как столица слетает  
 В темноту — но цепляет рука  
 Над шумливыми Стикса валами  
 Сей бесплодной скалы вертикаль.

Несший *omnia sua* в котомке  
 За плечами, глазниц пустотой  
 Без труда уследит звёзд над Понтом  
 Прихотливый редующий рой.  
 Пряжа, нить обрывая, в потёмках  
 Забывает о блудном потомке,  
 Но с чужих берегов ввечеру  
 Зов Эвтерпы летит, эхом полнясь,  
 Что Уранию кличет, сестру.

Кто поймёт, где сухарик изгнания,  
 Где отечества хлеб? Знать, вольна́  
 Муза славить и радость и горесть —  
 Даже здесь, где застыла волна,  
 В зоне ужаса и воздаянья,

Vanduo neatspindi Nasono,  
Ir speigas aptemdo lapus,  
Ir debesys ritina balsą  
Į miestą, kurio nebebus.

Padangėj, kur gomurį žeidžia  
Šarmota nomadų tarnė  
Ir auga alsavimo svoris,  
Tik liepsnai duota ištvėmė.  
Ją vėjas, lyg pumpurą, skleidžia,  
Ir laikas su distichu žaidžia,  
Ir kaulai negirdi kapuos,  
Kaip aidi ir džiūgauja oras,  
Užgautas lotynų kalbos.

Где бумага черна от страдания,  
Где Назона нельзя отразить  
Водам. Тучи уносят твой голос  
В город, коему больше не быть.

Там, где говор кочевников льдистый  
Ранит горло, где воздух тяжёл,  
Где лишь пламя — его не задует  
Ветер Севера — стойко, как ствол  
С почкой, прячущей лист серебристый;  
Там, где время играет в дистих —  
Тот, кто слился с землёй и травой,  
Не расслышит, как воздух ликует,  
Заселённый латынью живой.

1997

\* \* \*

Mes deginom šią lempą vakarais.  
Ant knygų plūdo tamsuma, sumišus  
su kaistančio arbatinio garais  
ir lagamino blizgesiu iš nišos.  
Kai merkėsi nugąsdinta ugnis,  
bičiulis taisė sumazgytą laidą,  
idant, paneigę naktį ir pusnis,  
save stebėtume iš kito laiko.  
Ir jis atėjo. Dingo kambarys,  
ir siela baigė perdeginti kūną  
senajam jo gyventojui, kuris  
paniekino šiaurietišką lagūną.  
Dar žybčioja arbatinio aša.  
Knyga ir atvirukas virš gobtuvo.  
Bet sienų nebėra. Ir tik šviesa  
gyva, dėkodama už tai, kas buvo.

\* \* \*

Мы эту лампу жгли по вечерам.  
На книги липла тьма, склоняясь ниже  
пред чайником, что волю дал парám,  
и тусклым блеском чемодана в нише.  
Испуганный огонь моргал, рябя.  
Друг провод поправлял, и было нóво,  
ночь и сугробы позабыв, себя  
самих узреть из времени иного.  
Оно настало. И душа дотла  
плоть пережгла отринувшему честно  
лагуну севера жильцу, вчера  
здесь жившему. И комната исчезла.  
Ещё мерцает чайник. Шлют привет  
открытка, абажур и книги сверху.  
Нет больше стен. И только прежний свет,  
благодаря за всё, что было, светит.

1997



## SAN MICHELE

Dviveidis tarsi Janusas plyšys  
atsiremia į valtį, išskalautą  
ant prieplaukos. Užsimezga ryšys  
tarp vyzdžio, kupolo ir balkšvo skliauto.  
Variklis tuksi dykumos centre,  
ir molį trupina suknežęs bortas,  
kur akinančiom sienom ir skaidria  
birželio saule pasitinka Orkas.  
Žolė ir akmens. Ta pati sala.  
Ir štai klajūnas klausosi nustėręs,  
kaip virš krūmyną kaupiasi tyla,  
kaip dusliai sferai atsiliepia sferos,  
kaip klintys įsiterpia į bangas,  
kol sąmonę iš sąstingio pažadins  
jau nebe skausmo dūris, bet kol kas  
dar ne vanduo, ne garlaisis, ne medis.

## **SAN MICHELE**

Щель, как двуликий Янус, оперлась  
 о лодку, что прибой однажды вынес  
 на пристань. Так и возникает связь  
 меж куполом, зрачком, белесой высью.  
 Стучит мотор среди белесых вод,  
 и глину борт изъеденный бодает.  
 Среди слепящих стен в июне — под  
 прозрачным солнцем — Орк нас поджидает.  
 Трава и камни. Тот же остров. Вот  
 спешит расслышать странник, камня,  
 как над кустами тишина плывёт,  
 как сфере глухо вторят сферы неба,  
 как режет воду клин известняка,  
 покуда мозг, оцепенением полный,  
 уже не боль пробудит, но пока —  
 не пароход, не дерево, не волны.

1997

**Iš rinkinio “Sankirta” (2005)**

**Из сборника «Стык» (2005)**

## SANKIRTA

Nuo plento takas leidosi į drėgną  
pievutę. Dubury matei, kaip gęsta  
saulėlydis, užgavęs tviskiā vielā.  
Dryžuotā stulpā vainikavo herbas,  
cementā brūžino šiurkšti svėrė.

Į šiaurės rytus traukėsi ankšta,  
kantri šalis, jau sveikinanti naktį.  
Alksnyno nuokraštyje stirna skabė  
lapijā. Už akiračio bemaž  
atspėjai ežerā, kurio pakrantėj  
tamsoki vandens atspindėjo vaikā,  
sutampantį su tavimi. Daina  
vingiavo virš nendrynų, liepto, datos  
užžėlusiam antkapyje. Laikas,  
išsprūdęs atminčiai ar biografui,  
turbūt visų svarbiausias, nes yra  
drauge ir sunkmena, ir talismanas.

Į kairę tvyrojo laukinis miškas.  
Jame švytėjo proskyna — plyšys,  
atvėręs pelkę ar tiesiog purvynus,  
kur spietės neįžiūrimos būtybės,  
gauruotos, šypsančios, prasimanytos  
bepročio grafiko. Labai toli  
juodavo lankos ir įgriuvę tiltai.  
Žvarbus kanalas siekė marių ribā,  
nerasdamas nei miesto, nei laivyno.

## СТЫК

Тропа шла вниз, к лужайке, от шоссе.  
Из впадины ты рассмотрел задетой  
лучом заката проволоки блеск.  
Столб полосатый был гербом увенчан.  
Сурепка шебуршала о цемент.

На северо-восток легла страна  
терпения и тесноты — встречая  
ночь. Там в лесу косуля обрывала  
ольшаник. Горизонт приоткрывал  
там озеро, чья тёмная вода  
у берега ребёнка отражала,  
совпавшего с тобой. Там над мостками  
над камышом, над мхом надгробной даты  
кружила песня. Время, ускользя  
из нашей памяти, из биографий, —  
есть в равной мере гнёт и талисман.  
Пожалуй, это-то нам в нём и важно.

Лес, влево простиравшийся, был дик.  
В нём узкой щелью просека светилась,  
топь открывая, либо лишь низину,  
где, ухмыляясь, твари копошились,  
мохнаты и незримы, — сотворить  
мог лишь безумный график их. Вдали —  
там, где луга, где рухнули мосты —  
канал спешил достичь границ залива.  
Ни города, ни флота на пути.

Žinojai: kūdikiai tenai užgimsta  
tam, kad pavartėse dalytųs švirkštais,  
pagieža, sperma, nuorūkom, skatikais.

Už nugaros — balkšvi sodybos dūmai,  
ir amsi šunys, sergėdami ūkį  
nuo neprašyto svečio. Jau vėlu.  
Tarp įdubų ir piliakalnių sukas  
beveik nepravažiuojamos keliūtės,  
ir netinkuotas mūras dengia ugnį.  
Na ką gi, jei likimas lėmė, būk  
šiam krašte prie pat gimtinės durų,  
kurčioj trilypėj sankirtoj, kur stūkso  
stulpai, išlikę iš kitų laikų,  
kadaisė mirtini, ir atšiauriu  
lanku dykynę kerta viadukas.

Palieski vėstančią vaikystės žolę.  
Esi namie. Trilypė jūra ošia  
nakties kriauklėj. Tau buvo dovanota  
nyki era, sargybinis, kurio  
nebėr, ir balso išsiilgęs oras.

Ты знал: там зачинаются детишки  
лишь для того, чтоб во дворах делить  
окурки, злобу, деньги, семя, шприцы.

А за спиной дымят усадьбы, хмуро  
собаки брешут — дом свой стерегут  
от злых гостей. Коловращенье узких  
запущенных просёлков, что ведут  
петляя меж оврагов, к очагу.  
Он скрыт стеной с облезлой штукатуркой.  
Ну что ж, коли судьба велела, будь  
здесь, у дверей в отчизну. Этот угол,  
глухой трёхкратный стык похож на участь  
твою. Торчащий столб, внушавший ужас  
в иные времена; и виадук  
дугой суровой рассекает пúстынь.

Траву, где холодеет детство, тронь.  
Теперь ты дома. Тройственное море  
шумит в ракушке ночи. Часовой,  
которого не будет больше... Воздух,  
тоскующий по голосу, — твой дом.

2001



## PO PASKAITOS

Смыкается какой-то тайный круг...

Анна Ахматова

Tą dieną, kaip ne kartą, su studentais  
jų dar menkai išmanoma kalba  
skaičiau eiles.

Už lango plieskė balos.  
Pilkavo mūrai, suręsti bedarbių  
depresijos epochoje. Šį stilių  
ne veltui praminė *Depression Gothic*.  
Mane kainavo pojūtis, jog aš  
juos klaidinu. Atsimenu, kreida  
trupėjo rankoje, neklausė balsas,  
ir viskas vyko truputį per sapną.  
Bergždžiai bandžiau paaiškinti, kas man  
tada (kaip šiandien) rodėsi svarbu:  
jogriebalsiai pažįsta vienas kitą  
ir susišaukia, lyg nuklydę girion  
medžiotojai — dusliai, bet įsakmiai;  
jog balsiai leidžiasi ir kopia laiptais;  
jog skiemenį paantrina skiemuo,  
lyg veidrodis, atsukdamas paviršių  
į veidrodį, idant iš jų užgimtų  
svaiginanti tamsi anfilada,  
kurioj it žvakė atsispindi kirtis.  
Žodžiu, galybė banalių ir ne  
palyginimų — tam, kad jie suprastų,  
jog smulkmenų eilėrašty nėra,  
ir juo smiltis mažesnė, juo tikriau

## ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ

Смыкается какой-то тайный круг...

Анна Ахматова

В тот день я, как не раз, читал стихи студентам, понимающим язык не очень.

За окном блестели лужи, серели стены — память об эпохе Депрессии Великой. Этот стиль недаром прозван был «Depression Gothic». Я смутно ощущал, что говорю совсем не то. В руке крошился мел, предательски не подчинялся голос. Отчасти всё напоминало сон. Я тщился объяснить, что мне тогда (и по сей день) казалось важным: что согласные распознают друг друга, перекликаясь, — так в лесу охотник другого кличет — приглушённо, внятно; что гласные восходят и нисходят ступенями; что слогу вторит слог — так зеркало поверхность обращает к другому, дабы в тёмной анфиладе, из них возникшей, голову кружа, свечою отразилось ударенье. Короче, тьму банальных и не очень сравнений — дабы донести до них, что стих не знает мелочей: чем меньше песчинка, тем верней она способна

ji sugeba pakreipti upės tėkmę.  
Bet tai ne viskas, nes eilutėj slepias  
vos bejskaitomos garsyno mįslės:  
kadaise — uždraustas dievybes vardas,  
o šiandien žodžiai, ženklinantys daiktus,  
menkus, tačiau poetui pravarčius  
kaip amuletai. Santėmis virš posmo  
vadinamas metafora. Lyg žolę,  
jis lenkia sakinį ir pašo garsą  
tarytum debesį, kol suartėja  
nutolusios, bet giminingos prasmės,  
ir jungtuves palaimina žodynas.

Klausytojai dėliojosi knygas.  
Aš nutilau. Pasaulis ėmė keistis.  
Stikle dar vis atspindėjo balos  
ir brėžėsi beviltiški pinakliai,  
tačiau pro juos ryškėjo kambarys —  
aikštingo, išdidaus neturto būstas  
nebesančioj šaly, kitam laike,  
ir moteris, nugrimzdusi į krėslą,  
sena, apsunkus, bet keistai grakšti,  
kurią kadaise pažinau. Bijojau  
jos replikų dygumo, atminties,  
talpinusios ne mano vieno amžių,  
bet dar labiau baisėjaus, kad nutrūks  
jos kimstantis alsavimas, kai lipom  
į kažkelintą aukštą. (Jis nutrūko  
po pusės metų.) Moteris tylėjo,  
bet aš galbūt atspėjau, ką ji manė.

Sakei daugmaž teisybę. Nors vertėtų  
šnekėti paprasčiau. Nėra ko neigti,  
tai mūsų darbas. Jo lengvesne pusė.  
Pakanka sekti kalbą iš paskos,  
jai nekliudyti — ji tuomet pati

вспять повернуть течение реки.  
 Но это ведь не всё: в строке сокрыты  
 загадки, что шепнул сам звукоряд —  
 запретное в дни оны имя Бога,  
 а ныне лишь слова, что означают  
 безделицы, насущные поэту  
 как амулеты. Вихорь над строфой  
 зовут метафорой. Он как траву  
 сгибает фразу, он терзает звук  
 как облако — пока не сопрягутся  
 далёкие, но родственные смыслы,  
 и брак их не благословит словарь.

Студенты уже складывали книги.  
 Я замолчал. И мир стал изменяться.  
 В окне как прежде отражались лужи,  
 виднелись безнадежные пинакли,  
 но комната меж ними проявлялась  
 в иной стране, во времени ином,  
 и женщина, что погрузилась в кресло, —  
 с орлиным профилем, немолодая  
 и полная, но, что довольно странно,  
 изящная — я с нею был знаком.  
 Боялся колких реплик и робел  
 пред памятью, что уместила больше,  
 чем знал мой век, — но более страшился,  
 что хриплое дыханье прервётся  
 при восхождении на этаж. (Прервалось  
 спустя полгода.) Женщина молчала,  
 но я её, быть может, смог понять.

Всё это правда. Впрочем, излагать  
 попроще стоит. Такова работа,  
 не отрицай. Та часть её, что легче.  
 Достаточно лишь следовать за звуком  
 и не мешать ему — он сам найдет

parūpins tonalumą, anagramą,  
 pradės metaforą. Bet eilės gimsta  
 kur kas anksčiau už mus, už mūsų balsą,  
 pirmykštėj tuštumos kunigaikštijoj.  
 Eilėraštis sapnuojasi pats sau.  
 Mes turime sudrumsti tuos sapnus,  
 išvesti jį iš ten — tiksliau, iš nieko —  
 į sintaksės, fonetikos aikštes.  
 Ir tai sunku. Čia lemia ne kalba,  
 bet, įtariu, kažkas už ją aukštesnis.  
 Jis auga lyg miglotas gaudesys  
 ir baigus darbą įkvepia jam dvasią.  
 Jei patikėsime Augustinu, —  
 o jis, be abejo, neklydo, — Viešpats  
 per amžių amžius sergi savyje  
 visas upes, visas aušras, kiekvieną  
 atomą, ašarą, kiekvieną kriaukšlį,  
 kurį žiaumoja zonoj kalinys,  
 kiekvieną budelio iššautą kulką.  
 Bet mes to neaprėpsim. Mums belieka  
 detalės: tarkime, garnys pakrantėj,  
 neišvaizdi *Depression Gothic* arka  
 ar piktžolės po balkonu, kur būta  
 aptriušusių auksuotų raidžių: *Deus*  
*conservat omnia*. Ir to gana,  
 kad eilės sutalpintų visą meilę,  
 kurią esi patyręs. Kad paguostų  
 net mirusius.

    Taip, dera gerbti kalbą,  
 jos labirintus, sąryšius, aidus,  
 kurių dėka beveik prilygstam Dievui,  
*Beveik* prilygstam. Mūsų laukia siena,  
 kurios neperžengsi. Kalba išnyks,  
 kaip mes visi išnykstame. Bet tai  
 neverta net ironijos.

Lange

mačiau ledinį nečionykštį dangų.  
 Virš mūsų tyrojo vėlyvas kovas.

метафору, и ритм, и анаграмму,  
 и верный тон. Но стих рождается раньше,  
 чем ты, чем твой язык; его отчизна —  
 беззвучные владенья пустоты.  
 Стих снится самому себе. А мы  
 должны нарушить сон и увести  
 его оттуда — из Ничто — к проспектам,  
 где правит синтаксис, на площадь звука.  
 Вот это трудно. Здесь, подозреваю,  
 решает не язык, а кто-то свыше.  
 Конечно, если верить Августину, —  
 а он не ошибался, — то Господь  
 хранит в Себе от века все рассветы,  
 все реки, каждый атом и слезу,  
 и каждый ломоть хлеба, что жуют  
 на зоне зеки; Он хранит все пули,  
 что выпущены были палачом.  
 Нам это не постичь. Нам остаются  
 детали: цапелька на берегу,  
 нелепая Depression Gothic арка,  
 сорняк, проросший под балконом, где  
 с букв облетела позолота: «Deus  
 conservat omnia». Уже немало,  
 чтобы стихи вместили всю любовь,  
 что ты познал. Чтобы смогли утешить  
 и нас, и мёртвых.

Так почтим язык,  
 его законы, лабиринты, эхо,  
 что нас почти уравнивают с Богом.  
 Но есть ещё стена, и эту стену  
 нам не перешагнуть. Язык исчезнет,  
 как мы исчезнем. Вряд ли это стоит  
 иронии.

В окне нездешних мест  
 мне открывалось ледяное небо.  
 И поздний март над стенами стоял.

## ANNO DOMINI 2002

Beglobė žvaigždė zenite, žiemos ir stebuklo ženklas.  
Miestas, tarytum lėktuvas, leidžias Naujųjų metų  
laukymėn. Bokštus krečia globalinis atšilimas  
it virusas. Kosti ir šnirpščia lėkštas salynas.  
Balsva statula — valdovė iš jau praloštos šachmatų

partijos — įsivėlė į kaustantį dulksmo tinklą.  
Mūsų, o gal ir kimbrų peržengtas Rubikonas.  
Dygu akiračio lankas, primerktos aštrios žaliuzės.  
Lašas išdidina vyzdį, gomurį teršia drumzlės.  
Už kampo, kur styro pastoliai ir šviečia nelankomas kinas,

pamažu nukopi laipteliais į tankią savaitgalio prozą.  
Ant sudilusio slenksčio nerasi lotyniško *Salve*,  
nes čia ne gimtinė. Parketas linguoja, trupa lyg išas  
po bėglio pėdom. Naujutėlis jugendo stiliaus vitražas  
nenoriai aukoja klientams rausvą ir melzganą šlovę

virš baro. Staltiesių burės, veidrodžiai, krištolas, bronzas,  
netikras marmuras. Taip, toj pačioj Penkiasdešimt Antrojoj  
(kaip sakė anas poetas?), įbaugintas, apsvaigęs  
sėdi ir lauki taurės, kol retos purvinos snaigės  
kryžiukais ženklina erą, grimztančią mezozojun

## ANNO DOMINI 2002

Символ зимы и чуда — звездой беспризорной в зените.  
 Город в просвет новогодний снижается боингом круто.  
 Башни в ознобе — вирус глобального потепления.  
 Плоского архипелага кашель и всхлип бесполезный.  
 Белёсую статую — ферзя из уже продутой

шахматной партии — сетью сковали мороси нити.  
 Добрая четверть века, как Рубикон за спиною.  
 Колочий изгиб горизонта, прищур жалюзи украдкой.  
 Капля зрачок расширяет, в гортани першат осадки.  
 За углом, где мерцает реклама безлюдной киношки,

спускаешься не спеша в уикэнда густую прозу.  
 Это не родина — здесь не сыщешь латинского Salve  
 перед порогом. Паркет под ногой беглеца крошится  
 как ледяная шуга. Витраж югендстильный, лица  
 клиентов окрасив лиловым и розовым, служит славе

бара. Хрусталь, зеркала, паруса скатертей, бронза,  
 липовый мрамор. (Как там у поэта?) На ту же  
 придя Пятьдесят Вторую, сидишь, утращён, одурманен,  
 трясешься над рюмкой, покуда снежинки грязные мягко  
 метят крестами эру, что к мезозою всё глубже —



ar net gilesnėn gelmėn. Mirties neišsakomas tvaikas  
įžeidžia juodą rugsėjį, spalį, lapkritį, gruodį —  
toliau skaičiuoti neverta. Jis tvyro per šimtą bloką  
viršum puikybės ir dulkių (nei vieno, nei kito neliko),  
virš celofano skiautėm virtusių plieno griozdų.

Kaitra gražina į pradžią. Karai pirmesni už taiką,  
vanduo senesnis už dirvą. Atšilusios Arktikos ledo  
gana, kad po mariom dingtų jei ne visi žemynai,  
tai šis granito gurvolis. Ir žymiai mažiau benzino  
pakanka žmogaus ir bokšto rainelei, raumeniui, odai.

Pasibrukusiam kumštį po galva jaunuoliui asketiškoj lovoj,  
kažkur palapinėj, sapnuojasi šaunios žaidynės —  
lėktuvai, liepsna. Tai mes jį sutvėrėm. Jam duotas  
tik šitas likimas. Laikas mokėti. Pro dūmus  
grindimis žvangėdamas ritas metro žetonas

lyg sestercijus Herkulanumo lavon.

глубже, чем погружалась тогда, при поэте, — стремится.  
Неописуемый запах смерти стоит, оскорбляя  
черный сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь — покамест  
хватит — на сотню блоков высясь над месивом камня,  
скрученной стали. Прахом стала гордыня былая.

Жара возвращает к истокам. Войны первичнее мира,  
воды древнее почвы. Льдов Арктики на поверку  
довольно, чтоб море пожрало пусть не материк, но ту же  
глыбу Манхэттена. Самую малость бензина нужно  
на радужку, мускул, на кожу башни и человека.

Где-то в палатке нищенской юноше снятся всё те же  
славные игры — пламя и самолёты. В оном  
он не повинен — иной судьбы он не ведаёт. Это  
мы его сотворили. Настала пора ответа.  
По полу в дыму жетон на метро со звоном

скачет в расплав Геркуланума, словно сестерций.

2001

## TARP LANDWEHRKANALO IR SPREE

Muratui Haschu

Aš čia lankiausi prieš galybę metų,  
Čia gėriau tirštą ištrėmimo midų  
Ir tulžį, stropiai lošdamas šachmatų  
Ar kortų partiją su likimu,  
Čia dirščiojau, vaidindamas Nasoną,  
Nuo pakylęs į draudžiamąją zoną,  
Akylą saugumiečių garnizoną  
Ir kuopas ištuštėjusių namų.

Kanalas, kur sumeškeriojo Rožą,  
Jau nebeatšviečia griuvėsių ruožo.  
Atgyja stotys. Keičias gatvių bruožai.  
Kas nepasikeitė? Nebent tu pats.  
Alėjos perspektyvoje ištrykšta  
Skaidri liepsna, lyg baltymas pro lukštą.  
Virš ambasadų blunka vakarykščių  
Kolosų vėliavos. Pariser Platz.

Tarp naujo parkingo ir mini baro  
Stebiu tuštoką postmoderno erą.  
Ties banku — sterilesnis už Sacharą  
Stiklinio atriumo šulinys.  
Akis palydi blizgią bėgių siūlę  
Lig sankryžos, kur plūduriuoja saulė  
Ir drumstą dangų duria Siegessäule,  
Neginčijama tarsi neiginys.

## ОТ ЛАНДВЕРКАНАЛА ДО ШПРЕЕ

Мурату Хаджу

Я здесь бывал ещё во время оно  
и, подражая кое-как Назону,  
поглядывал на окна гарнизона  
ЧК и обезлюдивший район.  
Бог знает сколько лет прошло с тех пор, как  
я мёд свободы запивал касторкой  
изгнания, играя с дальнозоркой  
судьбой то в шахматы, то в фараон.

Канал, откуда выудили Розу,  
уже не отражает симбиоза  
руин и воздуха. Дома меняют позы.  
Всё изменилось. Я один лишь — пас.  
В конце аллеи матовое пламя  
касается пустых небес руками,  
и сверхдержав знамёна лоскутами  
поблэкшими висят. *Pariser Platz.*

Банк, новый паркинг, бар. Я суеверно  
присматриваюсь к вехам постмодерна,  
стеклобетон которого наверно  
стерильнее сахар и антарктид.  
Мой взгляд скользит по рельсам до той точки,  
где *Siegessäule* разрывает тучки  
на мелкие клочки и в одиночку  
«нет!» сумрачному небу говорит.

Neliko Sienos. Netgi neatseksi,  
Kur ji stūksojo, kur tekėjo Stikso  
Juoda srovė. Konsumpcijos ir sekso  
Kunigaikštystė neįmins mįslės,  
Kurią nedrąsiai užmena turistas.  
Kame puikavos politbiuro sostas,  
Prekiauja piešiniais avangardistas,  
Pasprukęs iš pranykusios šalies.

Mane, kaip jį, svaigina laisvės plotai.  
Aš anachroniškas kaip hugenotai,  
Bet vis dar gyvas, nors kalbu miglotai,  
Nesklandžiai, ne į temą, be tvarkos, —  
Patyręs šilta, kai kada ir šalta,  
Paklydęs tarp granito ir bazalto,  
Šalia svyruojančio beveidžio tilto,  
Įtilpusio naujoviškuos laikuos.

Aš jiems nepriklausau — kaip šis frontonas,  
Šarvai, vežėčios, Herkulis, grifonas,  
Kuriuos į dabartį atplukdė tvanas,  
Aptėškęs vandenių (tiksliau, ugnim).  
Bet kol nerangūs murzini trofėjai  
Dar priešinas žvarbiam balandžio vėjui,  
Akropolių kūrėja ir griovėja  
Paladė — mano deivė — su manim.

Žmogus, manyčiau, visada naujokas  
Jos valdose, kur mainosi epochos,  
Imperijas palydi bergždžias juokas  
Ir pergalės kerai neamžini.  
Nustojęs tėviškės, dažnai ir vardo,  
Jis mokos vienumos, nevengia skurdo,  
Tačiau (kaip sakė emigrantas) nardo  
Laike nei salamandra židiny.

Взамен исчезнувшей Стены воздвигся  
 мир новый потребления и секса.  
 Ушедшие под землю воды Стикса  
 волнам забвения обречены.  
 Не знаю что, но что-то тут нечисто.  
 Храм Партии стал Меккой для туристов,  
 являя им холсты авангардиста  
 сбежавшего из призрачной страны.

Анахроничные как гугеноты,  
 мы оба опьянели от свободы.  
 На заумь невзирая и длинноты,  
 я жив, но заблудился как впотьмах  
 среди базальта, стали и гранита.  
 Напротив — мост безликий. Нарочито  
 я принимаю позу неофита,  
 блуждая в новомодных временах,

которым я ни сват, ни брат, как эти  
 доспехи на фронтоне, силуэты  
 грифона, Геркулеса, коих в сети  
 поймало время, окропив огнём.  
 Покуда неуклюжие трофеи  
 ещё сопротивляются Борею,  
 я буду немезиду и психею  
 акрополей — Палладу — славить днём

и ночью. Человек в её владеньях  
 беспомощен, подобно робкой тени.  
 Победы там ничем от пораженья  
 не отличить. Империи там не  
 устойчивы, эпохи — эфемерны.  
 Изгой, лишившись родины (как верно  
 заметил эмигрант), живёт в безмерных  
 веках, как саламандры дух — в огне.

Ir tai turbūt vienintelė malonė  
Krašte, kur karaliauja žodis „ohne».  
Atsilaikyk, kol pasibaigs kelionė,  
Gyvenk liepsnoj. Tau niekas nepadės.  
Šiukšliaduobės primurdytos idėjų, —  
O tu, nors menkas, vis dėlto bijojai  
Vergystės kiek labiau, negu pavojų,  
Ir netiesos — labiau negu mirties.

Virš medžių sklendžia angelas. Ar pikto,  
Ar gėrio, nesuprasi. Jį sutikti  
Man per vėlu. Kaip reikalauja takto  
Taisyklės, lemčiai dera padėka.  
Kol proskynoje žiebiasi žvaigždynas,  
Aš pasuku tenai, kur būta Sienos,  
Ir išnykstu, nuo pergrūstos vitrinės  
Nutrynęs savo atspindį ranka.

И это — благодать, как речь на фоне  
 владычествующего слова «ohne».  
 Живи в огне, не полагаясь кроме  
 себя ни на кого, покуда жив.  
 Идей, как мух, тьма тьмущая в отхожих  
 местах. Ты опасался рабства больше  
 опасностей. Пусть был ты всех ничтожней,  
 боялся смерти меньше ты, чем лжи.

Над парком реет ангел, но не ясно  
 добра ли, зла ли. Не спеши напрасно.  
 Судьбу не проведёшь, но ты, согласно  
 уставу, поблагодари её.  
 Созвездие приблизилось. Пора. Я  
 иду туда, где высилась Стена, и  
 с витрины затоваренной стираю  
 рукою отражение своё.

2003



## ATSIGRĘŽĘS TIES RIBA

M.K.

Taku tarp nuolaužų reikėjo kiek palipti  
į kalną. Požemy akis klaidino viskas:  
kiaurymės, išgąstis, birus pageltęs molis,  
uolų hieroglifai, nelyginant skenduolis  
iš prieblandos išplaukės tamsiaplaukis miškas.  
Klajūnui rodėsi — jis pragaišino kryptį

nuo prarajos, kur sielos senka ir užminga,  
į žemiškus laukus. Bet muzika stiprėjo  
smegenyse — galia, kuriai paklūsta Hadas,  
ankstesnė negu mes, nebūtyje suradus  
sau formą, pranašesnė už hiperborėjų  
ledus ir Nilo kaitrą. Nes tik ji prasminga.

Ji traukėsi tylon ir buvo juo didesnė,  
juo nebylesnė, vos nuspėjama po juodo  
akmens dangum, kur Chronas ilsis nuo griovimo,  
pasižadėjusi laimėti sugrįžimą  
iš veidrodžių tamsos, atsikratyti nuodo,  
apvilkti kūnu skaidrią tuštumą, pratęsti

tai, ko nėra. Toli vaidenosi neskubūs  
šešėlio žingsniai. Vėsų prakaitą nušluostęs  
nuo veido, jis aukojo Sappho ir Terpandrą,  
kurie dar negimė, už tą kelionės bendrą.  
Bespalvė garbana, švelnus dėmėtas skruostas...  
Jei raumenų skutai nukrito tarsi rūbas

## ОБЕРНУВШИЙСЯ У РУБЕЖА

М.К.

Тропа вот-вот, казалось, выведет наверх,  
но в гулком подземелье все сбивало с толку:  
провалы, скалы, желтоватые пласты,  
утопленником выплывший из темноты  
темноволосый лес, обломки и осколки,  
и страх нашепывал ему, что он вовек

из этой бездны, где мелеют и ко сну  
отходят души, не найдет дороги к свету.  
Но становилось громче пенье аонид,  
явившееся ниоткуда и Аид  
превосходившее по мощи. Только это  
имело смысл тогда, и странник шел на слух.

Под чернокаменными сводами, как нить,  
тянулась музыка — чем тоньше, тем прочнее,  
и, одевая легким телом пустоту,  
она одна, казалось, выводила ту,  
что шла за ним, из тьмы зеркал, где, каменя,  
спал Хронос. Только музыка могла продлить

то, чего нет. Распознавая вдалеке  
шаг милой тени, медленный и зыбкий,  
он в жертву приносил Терпандра и Сафо  
и эту музыку во имя своего  
немногого спутника. Осталась ли улыбка,  
бесцветный завиток кудрей и на щеке

nuo kaulų, ar išliko šypsena? Jį vedęs  
valdingas troškulys įsakė atsigręžti.  
Ar ji dar ta pati? Ar atmena, ar nori  
atgauti pojūčius, nelemtą geismo svorį,  
likimą, ateitį, save? Jei ne, tai esti  
vien Trakijos naktis, jos fleitos ir menadės.

Jis pažvelgė atgal. Pasaulis atsimainė,  
kraštovaizdis bemaž pranyko. Kliegė baikščios  
pajūrio įnamės, ir Euras plakė dyką  
atšlaitę, nuo bangos išlinkusią nei stygą.  
Uolynas baigėsi. Toliau bolavo žvaigždės,  
kurios po šimtmečių pasveikins kitą dainių.

родимое пятно? Влекомый страстью, он  
не мог не обернуться. Та же, что и прежде,  
она или другая? Хочет ли опять  
судьбу и будущее обрести, узнать  
в себе — себя, свои желания, надежды?  
Ночь, небо Фракии, менады, флейты, сон.

Он обернулся. Все исчезло — деревца,  
холмы, овраги. Клики чаек о потере  
невозвратимой возвещали. Эвр хлестал,  
струною изогнувшись, склоны диких скал.  
За ними звезды чистые горели, через  
века глядевшие на нового певца.

2002

## KETEROJE NETOLI JORDANO

Tai net ne kalnas. Tyrilaukiai nutrūksta,  
ir lieka skardis. Triuškinančio aukščio  
nugąsdintas, leki virš lygumos, tarytum  
bekūnis angelas. Jausmai apgauna:  
nors mano žvilgsnis, kaip anksčiau, skvarbus,  
ir jėgos neišseko, šito slenkščio  
neperžengsiu. Kas Viešpačiui tėra  
plonytis siūlas, o žmonėms upokšnis,  
man virsta praraja ir lemtimi.  
Užsikertu, nelyginant jaunystėj.  
Į slėnį įsiterpia Jerichono  
kol kas išdidūs mūrai, melzganos  
taurės krašte — užnuodyti Sodomos  
druskožemiai, o šiaurėj mirga oras  
virš nejžiūrimo Genezareto.  
Ties pat akiračiu atspėju miestą —  
griuvėsių, ilgesio, nesantaikos vietovę.  
Jo dar nėra. Ten švyti baltos daubos  
ir kaukolės pavidalo kalva,  
kur, rodosi, kažkas turės įvykti.

Nesu regėjęs pažadėto krašto.  
Svetur pradėtas svetimu vardu,  
girdėjau apie jį iš senstančios žindyvės  
(galbūt savosios motinos), taip pat  
užgimusios nelaisvės namuose  
greta šiurkščių laiptuotų piramidžių.  
Per amžius būsiu tarp dviejų šalių.

**НА ГОРНОЙ ГРЯДЕ ВБЛИЗИ ИОРДАНА**

Но это даже не гора. Пустырь  
внезапно обрывается и бездна  
лишает дара речи. Кажется, паришь,  
как бестелесный ангел, над равниной.  
Но ощущения обманчивы.  
Нет, силы не иссякли, и мои  
глаза как прежде зорки, но я знаю,  
что не переступлю сего порога.  
Как в юности, я стал косноязычен.  
То, что для Бога — нить, а для людей —  
ручей, разверзлось пропастью и стало  
моей судьбой. На кромке синей чаши —  
солончаки Содома, Иерихон  
пока еще довлеет над долиной,  
мерцает воздух над Генисаретом.  
На самом горизонте виден город,  
исполненный руин, вражды, тоски по дому,  
вернее то, что станет им — овраги,  
холм в виде черепа, где нечто  
должно, мне кажется, в свой срок свершиться.

Зачатый на чужбине, я не видел  
земли обетованной, но моя  
кормилица (она была мне мать), сама  
рожденная в неволе у подножья  
ступенчатых суровых пирамид,  
рассказывала мне о ней. Меж этих  
двух стран отныне я пребуду вечно.

Beveik neatmenu ir tos, pirmosios,  
kur suokia prižiūrėjo botagas  
ir sukrešėjęs kraujas kaupias lūpų  
kampučiuose. Aš ją matau sapnuos,  
bet nubundu, idant nesiilgėčiau  
negyvėlių gyvenvietės, šeolo.  
Verčiau paversmis Midiano žemėj,  
kur sergėjau bandas ir parinkau  
savajam sūnui vardą „svetimšalis“.  
Paskui žiaurius miestus apsėmė tamsuma,  
sus kilo dangūs, persiskyrė jūra,  
bet spėjau tai primiršti. Iš teisybės,  
šie smėlio tyrai — visa, ką žinau.

Jie amžini. Prie jų priprasti lengva,  
tarytum prie pačios erdvės ir laiko.  
Vidurnaktį minia nedraugiškų žvaigždžių  
nuo skliauto stebi vienišą klajoklį.  
Akiraty sausi, juodi kalnai,  
ir vėjo girtos mala stambų grūdą,  
kuriam vis vien — kupranugario kaulai  
ar mūsų griaučiai. Dvylika genčių  
ištirpsta toj platybėj nei druska  
šaltinyje. Bet vandens užrakinti  
uolos gelmėj. Čia viešpataujausių  
karalius: tuštuma, kurios žinioj  
puikybė, rietenos ir išdavystė.  
Dykynei Viešpats dovanoja kaitrą  
ir troškulį, kaip vynuogei saldumą.  
Balta kruša sužeidžia burną, bet  
kitokio peno čia nerasi. Tik šiandieną,  
po tiekos metų, mes priėjom skardį,  
kame numirsiu. Čėža palmių lapai,  
stovykloj plasta neryški ugnis.

Ту, первую, уже почти не помню,  
где кнут надсмотрщика поет, и кровь,  
свернувшись, набухает на губах.  
Порой она мне снится, но тогда  
я просыпаюсь, чтоб не тосковать  
по этому жилищу мертвецов,  
Шеолу. Лучше уж ручей в земле  
мидианитов, где я пас стада  
и выбрал сыну имя «чужестранец».  
Безжалостные города ушли во тьму  
и расступилось море. Что потом —  
не помню. Кажется, пески. С тех пор  
я ничего не видел кроме них.

Они, как время и пространство, вечны,  
и к ним легко привыкнуть. Полночь. Сверху  
толпа враждебных звезд следит за одиноким  
кочевником. На черном горизонте —  
сухие горы. Ветра жернова  
размалывают крупное зерно,  
верблюжьи кости, наши — без разбора,  
и растворяются, как соль, двенадцать  
колен израилевых в этой шире.  
Но воды прочно заперты в скале.  
Ведь это царство властелина мух  
и пустоты, в чьем ведении гордыня,  
предательство и ненависть. Господь  
пустыне дарит жар и жажду так же  
как виноградине Он дарит сладость.  
Град ранит рот и губы, но иной  
здесь пищи нет. Сегодня, столько лет спустя,  
мы подошли к обрыву, на котором  
я должен умереть. Сквозь шелест пальм  
огонь неяркий бьется на стоянке.



Manau, jos gūšiai — tai pati gyvybė.  
Šventovės akmenis ir varinės marios  
nesutalpina anos liepsnos, kuria kadaise  
prasiskleidė nesudegantis krūmas,  
ir kažin kas pasakė man „Esu“,  
nes tai vienintelis šioj žemėj žodis,  
kuris Jį apibrėžia. Jis kalbėjo  
su manimi patsai, be serafimų,  
žėruodamas nuo gūbrio skaldė dirvą,  
sugniaužęs aršų žaibą dešinėj,  
ir naktį plieskė lyg ugninis stulpas —  
vedlys, kurio šlovės neapsakysi.  
Jis ardo ir apšviečia — staigmena,  
juoda perkūnija, klaustukas, skausmas,  
kitėjimas — nors nežinau, kas kinta.  
Sausa žolė, aš sudegu gaisre,  
kuris naikina mus, palapines, žvaigždynus,  
staiga nutraukia ryšį tarp sūnaus  
ir tėvo, praeities ir ateities,  
nes visata — tik tos ugnies dalelė.

Tikėjau apsisaugoti nuo Jo  
išmintimi, lentelėmis, draudimais.  
Reiklius paliepimus, iškaltus akmeny,  
pažeis beveik visi, bet tai nereiškia,  
jog jų neturi būti. Man taip pat  
pristigo valios atlaikyti našta,  
kai andai stovyklavom prie Meribo.  
Bet visa tai — tik laužo pelenai,  
nuodėguliai, kurių juodybę smelkia  
ugnis, idant iš naujo suplyksėtų.  
Akimirų suma prilįgsta sielai,  
kaip smilčių — tyrlaukiui. Prie šito skardžio  
esu tas pat — pažadintas liepsnos,  
atstūmęs Nilo prakeiksmą, sutikęs,  
kad guolį pavaduotų ištvėrmė,

Его удары вторят ритму жизни.  
Но пламени, которым купина  
неопалимая горела, не вместят  
ни море медное, ни камни храма.  
Мне голос был, сказавший «Есмь», ведь это  
единственное слово на земле,  
которое Его определяет.  
Блестя с горного хребта, сжимая  
в деснице молнию, Он говорил  
со мною Сам тогда, без серафимов.  
Пылая огненным столпом, Он путь  
указывал нам ночью. Разрушая  
и просвещая, Он непредсказуем,  
как черный гром, как боль, как перемена,  
которую осмыслить невозможно.  
И я сгораю, как трава, в пожаре,  
уничтожающем шатры, созвездья, нас,  
связь между нашим будущим и прошлым,  
между отцом и сыном. Мирозданье  
исчезнет в этом пламени как щепка.

Я от Него надеялся укрыться  
в премудрости, скрижалях и запретах.  
Законы, в камне высеченные, не раз  
нарушат, но неправ, кто говорит,  
что быть их не должно. У стен Мериба,  
где мы стояли лагерем когда-то,  
я тоже бремени не удержал.  
Но всё это — лишь головни костра,  
зола и пепел. Иногда огонь  
их черноту пронизывает, чтобы  
вновь разгореться. Как песчинок сумма  
равна пустыне, так душа есть сумма  
мгновений. Я отверг проклятье Нила,  
был пламенем разбужен, предпочел  
усталость — воздаянию, скитанья —

atlyginimą — nuovargis, tėvynę —  
vienatvė dykumoj, dar nepradėtos kartos,  
kurios tikrai nepasiilgs Egipto,  
ir ši laužavietė, kame gyvena  
man kitados bylojusi dvasia.

постели теплой, чтобы наши дети  
как мы не тосковали по Египту, выбрал  
упорство, одиночество в пустыне  
и эти угли жаркие, в которых  
живет со мною говоривший дух.

2004

**Iš naujų eilėraščių**

## **Из новых стихов**

## ORMOND QUAY

Seamusui Heaney

Okeano garai, sutirštėjį balandžio Dubline,  
girdo mūrus, granitą ir tviskančio kėbulo dervą.  
Iš vagos išsprūdęs vanduo apnuogino dumbliną  
kibią plynę po tiltais, tarytum atgniaužtą delną.

Šioj purvynų šaly, patyrusioj maištą ir badmetį,  
vos prieš dvidešimt metų tuščioj nelyginant Liffey,  
krovininių mašinų trinksėjimo brėkštant išbudinti  
atspėjam, jog srautas vėl siekia buvusį lygį —

tiksliau, jį pranoksta. Žuvėdra sukrykus įlekia  
pakhausų spragon. Grindiniai drėgni ir duobėti.  
Kužda lapais, lašais, lėto laiko laštelėmis įlanka  
ties pilkuojančiu fortu. Ne mes ją išmokėm kalbėti.

*Bronze by gold.* Statūs laiptai, apkartusi duona, bet uždarbio  
pakanka ilgam. Ties krantinės kerte atsidaro  
išgarsėjus sirenų landynė. Migrantas paspringdamas užgeria  
savo mirgantį dvynį už čiabuvių apgulto baro.

Jau vis viena, rusvoki šiaurės pelkynai ar mėlynas  
krantas Jonijos jūroj, kurion įsipyko irkluoti.  
Tarsi Kirkės patalas, plečias dėmėtas žemėlapis,  
ir beglobė Európa rausias į šiurkščią paklodę.

## ORMOND QUAY\*

Шеймусу Хини

Океанский выдох, сгустившись в апрельском Дублине,  
обдал паром гранит, кирпичи и смолю горящий кузов.  
Голое дно под мостом, как ладонь бедняка, облуплено  
(без воды, сбежавшей из русла) и заскорузло.

В этой стране, состоящей из слякоти, мятежей и голода  
и всего лишь четверть века назад пустой как Лиффи,  
мы разбужены грохотом, шумом и гулом города  
и спросонья догадываемся о приливе,

затопляющем берега. В образуемую пакгаузами  
щель с визгом влетает чайка. Разбитые мостовые. Вечер  
у стен серой крепости. Листьями, каплями времени, паузами  
шепчет залив. Не мы его обучили речи.

*Bronze by gold.* Лестницы круты, хлеб горек, и всё по-старому  
в знаменитом притоне сирен на набережной, вот только  
денег стало хватать. За двойника, сидящего по ту сторону  
осажденной туземцами барной стойки

пьет мигрант. И уже всё равно — бурые ли болота севера,  
или синий берег Итаки. Пёстрая карта ширится как утроба,  
вернее, постель Цирцеи. Завернувшись в серую  
шершавую простыню, крепко спит Европа.

2006

\* *Примечание автора:* Ormond Quay — набережная в Дублине. На этой набережной находится «бар Сирен», описанный в «Улиссе» Джойса (глава о нем начинается словами «Bronze by gold»). Автор стихотворения встретил там бармена — мигранта из Литвы.



Томас Венцлова  
НЕГАТИВ БЕЛИЗНЫ

Дизайн Сергей Андриевич  
Верстка Тамара Донскова  
Производство Семен Дымант



НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
119017, Москва, Пятницкая улица, д. 41  
тел. (495) 951 6050, e-mail: info@novizdat.ru

Подписано в печать 28.05.2008. Формат 60x84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура Pragmatica  
Объем 10,23 усл. печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.  
Заказ № 359.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «Типография Момент»  
141406, Московская область, г. Химки, Библиотечная улица, д. 11



## **ТОМАС ВЕНЦЛОВА**

Литовский поэт и филолог Томас Венцлова родился в 1937 году в Клайпеде, окончил Вильнюсский университет (1960), был одним из основателей литовской Хельсинкской группы (1976). В 1977 году эмигрировал в США, в настоящее время преподает в Йельском университете. Стихи Томаса Венцловы переводились на английский, венгерский, немецкий, польский, русский, словенский, чешский и другие языки. На русском языке вышли книги Венцловы «Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов» (1986), «Собеседники на пиру: статьи о русской литературе» (1997), «Свобода и правда» (1999), «Граненый воздух» (2002), «Статьи о Бродском» (2005).

ISBN 978-5-98379-108-4



9 785983 791084